

ВРЕМЯ ИМБ 33 1978

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ТРИ ПОЭТА — ТРИ ПОЭТИЧЕСКИХ СТИЛЯ
- ПРОЗА АРКАДИЯ ЛЬВОВА
- АРТУР КЕСТЛЕР О СУДЬБЕ ЕВРЕЙСТВА



Артур Кестлер
Иуда на перепутье
Лев Ларский
"Здравствуй, страна героев!"
Михаил Бурджелян
Вернисаж "Время и мы"

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- БУНТ И ОТЧАЯНИЕ ЛЕНИНА
- ИВАН ЕФРЕМОВ С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
- РОТНЫЙ ПРИДУРОК ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ



ВРЕМЯ и МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

33
1978

СЕНТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ААРОН ЯРИВ
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав.редакцией Марина ГОЛУБ ЕВА

ОСР и вычитка - Давид Титиевский, апрель 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Представители журнала.

Англия	Александр Штрмас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387415-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292 12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

И. ВАРЛАМОВА

Мнимая жизнь. 5

Аркадий ЛЬВОВ

Золотая кровать. 70

ПОЭЗИЯ

Илья БОКШТЕЙН

Мимика склепа. 80

Евгения ЖЕМ

Мысли плавают по дивану. 86

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

Грохот века. 90

ПУБЛИЦИСТИКА, ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

Артур КЕСТЛЕР

Иуда на перепутье. 96

Дора ШТУРМАН

Победа и крушение Ленина. 132

ПИСАТЕЛЬ И МИР

Круглый стол редакции

Спор о Иване Ефремове. 150

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Лев ЛАРСКИЙ

"Здравствуй, страна героев!". 168

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Живопись Михаила Бурджеляна. 204

Коротко об авторах. 214

И. ВАРЛАМОВА

МНИМАЯ ЖИЗНЬ

МИСТЕРИИ

Народ в палате слегла перетасовался: Веру Георгиевну отправили в бокс на второй этаж, Паня вернулась назад, но лежала с температурой из-за какого-то осложнения в почках, Берту с Иоганной Карловной взрезали, так что они находились в послеоперационной, и койки их пустовали. Зато на место Веры Георгиевны пришла новенькая. Встретили эту женщину (у нее был рак легкого) не то, чтоб совсем в штывы, но все-таки сдержанно. Это была немолодая грузинка с жилистым и поджарым телом, но до бесформенности раздутым, отечным лицом. Глаза у нее заплыли до узких щелочек, нос, несмотря на свою благородную хрящеватость, расплюснулся, на шею тяжело свисала трясущаяся, словно одной водой налитая плоть. Круглое это лицо с желтоватой и сухо блестящей кожей напоминало медицинскую грелку. Новенькую тотчас так и прозвали — "грелкой", хотя у нее было красивое имя — Этери.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Быть может, из-за своей неузнаваемо изменившейся внешности, быть может, из свойственной ей прямо княжеской гордости, Этери ни с кем не общалась, держалась особняком. Целыми днями сидела она на койке, аккуратно перевязав свои черные, с яркой проседью волосы узенькой бархоткой, сложив на коленях руки и глядя в окно. С ее места нельзя было там ничего увидеть, кроме кусочка неба. Но взгляд ее не казался рассеянным, как бывает, когда безразлично, куда ни смотреть, а пристальным и настороженным, будто она все время чего-то ждала. Какого-то чуда, видения или знака, от которого будет зависеть ее судьба. Она и сидела не так, как обычно сидят больные, — привалившись к стене, опершись локтем на подушку либо устало ссутулив плечи, — а, точно аршин проглотив, с напряженной железной спиной.

Этери пичкали верошпероном, а время от времени выкачивали у нее из-под плевры воду целыми литрами. Тогда отеки спадали, в жидкой тестообразной маске проступали красивые, точеные даже черты, горячей и осмысленной становились глаза. На сутки она обретала дар речи и как-то раз снизошла до того, что спросила у Нора, о чем сегодня пишут в газете?

Гвоздем номера было в тот день письмо земляков писателю Ф. Абрамову. Просвещенные наши крестьяне искренне возмущались одним его очерком, который, в силу своей "бездарности", претендует, как они утверждали, на обобщение и возводит поклеп на советский колхозный строй. Нора прочла вслух особенно гневный пассаж, и Этери разволновалась.

— Ненавижу писателей! — пылко заявила она.

— Как? Всех ненавидите? — вскинулась Аля.

— Всех! — отрезала та.

— Но за что же?

— За то, что подлизываются, за то, понимаешь, что клятвы забыли! — воинственно сверкнула глазами Этери.

— Клятвы! — воскликнула Аля. — Я поняла ваш намек... Но люди за это время узнали кое-какую правду... Честно сказать — страшноватенькую. Что ж им упорствовать в своих заблуждениях!

— Молчи, глупая девушка, — презрительно оборвала ее Этери. — Молчи, раз не видишь дальше своего носа.

— А вы, пожалуйста, не оскорбляйте!

— Э-э, нужна ты мне, понимаешь! Других забот у меня, что ли, нет? — пожала плечами Этери и вдруг добавила туманную фразу: — Не ослу судить, что за плод хурма.

— Видали? Еще обзывается!

— В самом деле, — сочла своим долгом вмешаться Нора, — вы как-то уж слишком...

— Слишком? — тотчас вскипела Этери. — А по-моему, понимаешь, не слишком! Вы, я вижу, глупые обе. Если ума не хватает, иначе вам, понимаешь, скажу: когда отара назад повернет, хромой баран во главе идет... Ну, ясно теперь?

— Это вы про Хрущева, да? — сощурилась Аля.

— Про кого же еще? — с высоты своего величия ответствовала Этери, — Все позабыли, благодарности не имеют, — а кто государство от Гитлера спас? Кто работал ночами, пока, понимаешь, мы спали под одеялом? Кто парил в поднебесье, как горный орел?! И те, кто ползали перед ним на коленях, целовали следы его ног на земле, теперь клюют его печень!!! — она надрывно закашлялась и не могла продолжать.

— Пошли погуляем, Аля, — тихо позвала Нора.

— Правильно, а то тут прямо нечем дышать!

Они вышли. Во дворе было солнечно, пусто, только вдали, под тополем, прохаживалась, заложив руки за спину, Катя. Они направились к ней и, так как им нужен был слушатель, стали наперебой рассказывать про недавнее столкновение с Этери.

— О, Господи! Сколько таких — миллионы! — раздраженно воскликнула Катя. — А вы как будто с луны свалились! Да их — как собак нерезаных! Не только у нас — во Франции, в Гватемале, в каком-нибудь Мозамбике, не удивлюсь, если даже на острове Пасхи! Причем, их страдание кажется им священным: повержено, осквернено божество!.. Я помню, как в день его похорон у нас в мастерской работал один реставратор из Ленинграда. Знаменитый Аверинцев, слышали? Ну, неважно. Так вот у нас все, конечно, рыдали. А этот не-

вежда, напротив, знай, мурлычет какие-то арии: "О, баядера, тара-рим, тара-рам" и прочие в том же духе. Ну, шикнули раз на него, потом сделали замечание, наконец, — разорвались: "Если вы сами такой чурбан, уважайте хоть наши чувства!" Он страшно смутился, просил прощения, объяснил, что это он машинально, однако, его едва не убили... И что характерно, — добавила после молчания Катя, — у нас там, в общем, простые советские люди, а значит, каждый второй испытал на себе все прелести сталинского режима. Но ему, божеству, ему, корифею, прощалась любая жестокость. Не то, что нашему нынешнему. Этому — всякое лыко в строку. А почему? Ведь он же все-таки добрый царь.

— Может быть, потому, — нетвердо ответила Нора, — что люди любят именно сильную власть? И что народ привык окутывать ее тайной? Им по душе, когда перед ними разыгрывают мистерии. Они сами жаждут участвовать в них... И чтоб пышно было. Чем пышнее, тем лучше. И еще — чтобы страшно. В страхе — великая красота. Он эстетичен! Это, кстати, прекрасно понял и Гитлер: ночные шествия, факелы... До факелов, правда, у нас не дошло. Ну, было другое. А главное, этих умеренных немцев надо как-то еще взвинтить, подстегнуть. Наших — не требуется. Мы — унтер-офицерские вдовы, отроду, изначально, готовые себя высечь. Своими же собственными руками... Или то, что я говорю, сплошная галиматья?

— Конечно, — строго заметила Аля. — Про вдову у Гоголя совсем в другом смысле!

Катя расхохоталась.

— Умница-девочка! А ну-ка скажи нам, что ты по этому поводу думаешь?

— Я-то? — сказала она. — Я лично прямо не надивлюсь, какая у всех в головах каша! Вот вы... Как это вы, Катерина Петровна, назвали Хрущева царем? Или у Норы — сравнение с Гитлером. Неисторично! И в философии вы хромаете на обе ноги!

— Что ж, дай нам хорошую взбучку! — с улыбкой сказала Катя.

— И дам!.. Конечно, кто спорит? Есть у нас и ошибки. Но кому они застят свет, тот не умеет мыслить. Я вот и маме своей говорю. Она жила в Ленинграде, работала сборщицей на заводе (а маленький был заводик, электрические звонки выпускал), и как-то во время блокады, зимой, в метель, она опоздала. На сорок, что ли, минут. Такой был занос, что стали трамваи. А маму отдали под суд. Тем лишь только спаслась, что в трамвайном депо пожалели, выдали справочку. Она обижается: как же, мол, так? С семнадцати лет в коллективе, знают ее, как облупленную, ни одного замечания, да война, да голод, и трамваи ведь не ходили, чем она виновата? Я ей толкую: мама, ты не права, решалась судьба государства, судьба идеи, нельзя свою личную боль ставить выше всего! А она мне талдычит: дали бы, мол, тогда срок, и тебя бы на свете не было, дура! Ну, и пусть бы не было, говорю, это не довод!

Аля победоносно взглянула на них, явно гордясь собой. Но так как они не издали ни звука, она решила продолжить:

— Иное дело — законы. Их следует совершенствовать. Постепенно, конечно. Должна назреть историческая необходимость. Вот назрел наш двадцатый съезд, он и произошел. Одни за это Хрущева хвалят, другие ругают, как наша Этери... Глупость! Он только орудие!

Тут она, наконец, замолчала, как студентка, которая полагает, что теперь-то уж ей обеспечен высокий балл.

— Да-а, — протянула Катя, — опасный ты человек.

— Это еще почему?

— А тебе не известно, к чему приводит подобный детерминизм?

— Не поймаете! — гордо ответила Аля. — У меня по истма-ту пятерка! Ясно, что люди творят историю. Но не по своему произволу. Они зависят от обстоятельств. Вот так!

Катя саркастически поклонилась.

— Поздравляю. Очень удобная философия. Кстати, именно ею оправдывались все политические бандиты. Эсэсовцы, например: я-то хороший, да что я мог сделать? Объективная обстановка!.. Что же это, если не фатализм? Только в роли

Божьего промысла выступает так называемая историческая необходимость. А человек, моя милая, лишь тогда "звучит гордо", небось, вставляла в школьные сочинения эту цитату, когда он использует свое право — выбрать. Выбрать, как поступить: по совести или так, как диктует ему обстановка... Ваши вечные, подлые обстоятельства!

Катя говорила сейчас о своем, и голос ее дрожал. По лицу скользили тени колеблемых ветром листьев.

— Поразительно! — сказала она, посмотрев на Нору. — Как они все-таки ухитрились окутать такую топорную, приземленную философию мистически непроглядным туманом?

Нора молча кивнула на морг. Оттуда несло сладковатой покойницкой вонью, смешанной с запахом дезинфекции, вялых цветов и хвои.

— Ясненько, ясненько... Трупы — они смердят, это верно. Усекла твою мысль? — с усмешкой спросила Катя.

Аля стояла вся красная, вперив в них твердую, непрозрачную бирюзу своих глаз.

— Вы... вы... Вы прямо, как эти... как обыватели! Хуже! Вы обе, если хотите знать...

— Мы не хотим, — перебила холодно Катя.

ЗВЕНЕЛО СТЕКЛО...

Уже через несколько дней стали сказываться на Норе последние облучения. Резко упали в крови лейкоциты, настроение было подавленное. Ей велели больше гулять, но гулять не тянуло, и она валялась на скомканной простыне в душной, пропахшей мочой и гноем палате — смурная, с вяло текущими бледными мыслями, со слезами в глазах. От этих застойных слез весь мир представлялся аквариумом, в котором колышутся длинные плети водорослей, шмыгают взад и вперед какие-то зыбкие плавники и хвосты...

В один из таких дней приехал с дачи Илья. Он привез ей творог, сырую морковь и печенку, которую Нора не только есть, но и видеть уже не могла. Они сидели в тени под топодем, Нора уныло молчала, а Илья, поставив каблук на сиденье

и обняв свою согнутую в колене и плотно прижатую к груди ногу, безостановочно говорил. Его странная поза, неистовое сверкание глаз, захлебывающаяся, хотя, как всегда, и цветистая речь обратили, наконец, на себя внимание Норы.

— Ты случайно не болен?

— С чего ты взяла? Я не просто здоров, а здоров, как бык! У меня такой прилив сил и энергии, какого давно не было. Я чувствую, что могу перевернуть земной шар... Ха-ха! Дайте мне точку опоры... Кто это сказал? Архимед? Приятно иметь образованную жену! А я — Митрофанушка, недоросль, два класса церковно-приходской школы, до всего остального дошел своей головой!.. Когда в середине двадцатых годов я прибыл в Лондон и заблудился, некий прохожий, вежливо приподняв котелок, попытался мне втолковать, как дойти до отеля. Сначала он говорил по-английски, потом два-три слова сказал по-французски, наконец, перешел на голландский, на шведский или черт его знает, какой язык, и, так как я продолжал стоять перед ним дубина дубиной, он развел этак в стороны гантированные короткие ручки, произнес: "Y'm sorry" и, поклонившись, ушел. Я тотчас себе поклялся, что выучу хотя бы один европейский язык, да как-то было все недосуг, пока меня — ха-ха! — не схватили за шкуру и не бросили в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Не знаю, как нынче, а в те благословенные времена библиотека в Бутырках была богатейшая. Я затребовал французский самоучитель и вскоре уже кое-как читал роман Пруста...

— Пруста?!

— Вот именно, до сих пор не переведенный, "Albertine disparue", — роман, который, кроме меня, вряд ли кто в России прочел... А затем, уже в лагере, где я лежал на нарах бок о бок с одним потрясающим человеком, капитаном дальнего плавания и английским шпионом, причем, настоящим шпионом, не выдуманным, — я стал потихоньку да полегоньку изучать английский язык... Слушай, я тебе не рассказывал, каких я людей там сподобился встретить. Нигде в другом месте я бы их никогда не увидел, так что спасибо Кобе, низжайший ему поклон от старого каторжника. Там был канад-

ский епископ, три японца, почти — ха-ха! — как в детской считалке, помнишь? — Як, Як-ци-драк, Як-ци-драк-ци-драк-ци-дрони, — но, к сожалению, без своих очаровательных жен; один презабавнейший кулачишка, рыжая, не белокурая, а именно рыжая бестия, Митрич, учивший меня уму-разуму; юный фальшивомонетчик, одаренная артистическая натура, красавец-мальчишка, который и в лагере изловчился печатать бумажные деньги и которого в одно прекрасное утро повели на расстрел мимо нашей траншеи, где мы стояли с лопатами по колено в воде... Он шел, посвистывая, высоко задрав голову, и вдруг, обернувшись, махнул нам рукой и крикнул: "Ешьте вашу кашу, братишки, я лично сыт!"

— Его расстреляли?

— Через минуту... Так неужели — как ты считаешь? — мне было бы лучше сидеть, изнывая от скуки, в президиумах, пожимать, принимая орден, потную руку всесоюзного старосты, этой драной калоши Калинина, который — ха-ха! — переспал со всем кордебалетом Большого, академического, поганого, феодального театра, покупать себе шмотки и молча смотреть, как гибнет моя революция? Неужели мне эта жизнь была бы мила?.. Нет, я счастлив, что был в лагере с моим капитаном, с японцами, с Митричем, даже с фальшивомонетчиком Юркой! Каждый из них преподавал мне какой-то урок. А тем, кто трясся здесь по ночам, со страхом прислушиваясь к шороху шин за окном и к стуку двери в парадном, — им разве ведомо счастье брякнуться после работы на нары и спать, спать — величаво, блаженно, как праведник, как король?.. И разве хоть кто-то из них прошел бы, подобно мне, пешедралом тысячу километров по апрельскому слепящему снегу, когда меня вдруг — правда, с приходом на сцену Лаврушки — выпустили на волю? Я не стал дожидаться, как фраер, транспорта и побрел, увязая в сугробах, от одной деревни к другой, потерял очки, обморозил щеки, зато моя язва зарубцевалась, я просто чувствовал; как на ходу здоровею, крепну, и — ха-ха-ха! — расхохотался он на весь двор, да так громогласно, что грянуло эхо, — знаешь, что я съедал, когда чуть ли уже не ползком добирался к

вечеру до населенного пункта? Я съедал буханку черного липкого хлеба и выпивал бидон молока! Это я-то, хронический язвенник, и — ничего! И не знал я пищи вкуснее во всю мою жизнь!

Он сидел на скамье уже по-турецки, что Нору отчасти смущало так же, как, впрочем, его трескучий, насильственный смех.

— Илюша, у тебя, по-моему, жар, — сказала она.

— Жар? Какой жар? При чем жар?.. Да что ты ко мне пристала? — рассвирепел вдруг Илья, мгновенно забыв о своем ликовании.

Тут он впервые внимательно посмотрел ей в лицо.

— Что с тобой? — спросил он. — Ты похожа на злобную старушонку процентщицу... Муху, что ли, ты проглотила?

— Как ты груб, — еле слышно сказала она.

— Вот вечно ты так! — он вскочил и стоял теперь перед ней, высокий, в наглаженной белой рубашке с закатанными до локтей рукавами, бронзово-загорелый, худой, с фанатическим блеском в глазах. — Едва лишь почувствуешь, что я весел, что я окрылен, полон планов и мыслей, тебе непременно нужно дать мне подножку, подрезать, испортить мне все настроение. Что у тебя за постная мина? И откуда это стремление вечно корчить великую мученицу? Это у вас у всех от русской литературы! Еще от самого Пушкина! Не говоря уж о Вырине, даже Евгений, с его жалким, ничтожным "ужо тебе", на века вперед искалечил наших интеллигентов, и ты...

— Но он же восстал, он грозил истукану, пытался спасти возлюбленную, он — человек, — тихо вставила Нора.

— Э, молчи! Куда он там лез, несчастный комар! — заорал, как в припадке, Илья. — Со своими сопливыми чувствами! Ноль без палочки, пешка! Что он мог против сильного государства?.. Нет, правильно кто-то сказал: все пишут про то, как они всю жизнь страдали, и ни один — про то, как всю жизнь радовался. А вот я хочу написать, как никогда не хныкал, — даже там, где другие только и знали, что волком выть на луну... Помнишь, тех полек, графинь, мать и дочь, из семейства, кажется, Радзивиллов, которые очутились во время

войны в колхозе под Омском? Тогда, как в тридцатые годы, партия бросила клич: "девушки — на трактора!" И обе они, молодая и пожилая, не побоялись измазать в тавоте свои холеные "рэнчки", сели на трактор и стали ударницами... Вот это и есть аристократизм духа, а не ваш фамильный филистерский снобизм, не ваша занюханная "высокобровость" под девизом: "Без нас!"

— Послушай, что ты болтаешь? — наконец, рассердилась Нора. — Какая "высокобровость"? Папа строил дороги, мама ночами дежурила в эвакупункте и даже сама заразилась там сыпняком, я, хоть и не садилась на трактор, но, как тебе отлично известно, всласть и досыта намахалась лопатой... Что ты, собственно, хочешь сказать?

— А то я хочу сказать, — завопил Илья благим матом, так что в окна высунулось сразу несколько любопытных, — что с недавних пор ты взялась разыгрывать роль вольтерьянки или, вернее, этакой светской брюзги, а теперь и вовсе сидишь тут с такой скучающей мерзкой рожей, будто я порю несусветную чушь, а тебе открыта истина в последней инстанции. Не надейся, моя дорогая, что ты, прикрываясь болезнью, будешь уже безнаказанно отравлять вокруг себя воздух мизмами скепсиса! Не позволю! Детей на откуп тебе не отдам!!!

— Пошел к черту, — сказала Нора и, встав со скамьи, на ватных ногах побрела в корпус.

— Эй ты! — крикнул ей в спину Илья. — Забери свои баночки-скляночки, морковки-печеночки, творожки и сметаночки! А то — что же барыня будут кушать?

Нора не обернулась. Только услышала, как Илья со всего размаху швыряет все это в урну: звенело стекло.

ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

Она проревела ночь напролет, а утром приехала Тата.

— Что случилось? — спросила испуганно Нора. — У меня же вчера был папа...

— Вот именно, — ответила Тата.

— И что?

— Ты очень расстроена?

— Почему ты решила?

— Ма-амочка! — протянула Тата. — У тебя же все на лице написано. Это — во-первых. А во-вторых, он приехал вчера на дачу и так бушевал, ну, думаем, разнесет в пух и прах!

— Мы с ним немножко поссорились, — покраснела Нора.

— Да уж можно себе представить. Папа кричал: "Подумаешь, рак! Все зависит от человека, от его настроения! У мамы не рак желудка, не рак легких, всего только грудь! Захочет вылечиться — будет здорова. А станет нюниться, бить на жалость, слюни пускать — умрет!" Кричал и на нас, и на тетю Домну, чтоб мы не давали тебе потачки, не говорили жалостных слов... "Работать! Заставим ее работать!" — и все такое. В общем, тебе понятно. А после скомандовал: "Спать! Завтра всех подниму чем свет, хватит нежиться на перинах!" Я засмеялась: "Какие перины, папа?" Он аж побелел. Губы трясутся, руки трясутся, глаза сумасшедшие... Да ка-ак рявкнет: "Кру-гом, марш!" Антон от него так и дунул. А потом, уже с раскладушки, слышу — сидит отец на терраске и плачет. Сдавленные рыдания... Я поднялась, тихонечко выглянула, а он что-то пишет. Утром оказалось — письмо. Тебе, мамочка. Отвези, говорит. А сам на меня и не смотрит.

— Где оно?

— Вот, — протянула Тата конверт. — Извини, но я его вскрыла. Вдруг, там какие-то гадости? Но оно ничего. Как будто... погоди, не читай! Сначала еще про папу. Он взвинчен, не спит по ночам, худеет. И эти словесные Ниагары... Сто слов в минуту! Ведь он что? Посадит Антона перед собой, и пошло, и поехало: Троцкий, Бухарчик, Берия, Коба, Хрущев... Ребенок только глазами хлопает. Но это ладно, так было всегда. А сейчас у него, по-моему, нервный срыв. Его бы к врачу, да как это сделать? Едва заикнулась, так он на меня почти с кулаками: "Отстань от меня, не лезь!" Мамочка, родненькая, — Тата ее обняла, — прости, я, наверно, тебя еще больше расстроила... Но, понимаешь? Он тебя все-таки любит. Вот зачем я приехала. Чтобы это сказать.

— Спасибо, — сказала Нора. — Спасибо за эти слова. Вообще ты правильно все рассудила. От меня ничего не надо скрывать. Вы там пока не очень его раздражайте, а я на днях напишусь, и тогда...

— Мамочка, нет! Я не к тому... — Тата, как взрослая, погладила Нору по волосам. — Ты лечись, не выходи раньше срока. Ни в коем случае, слышишь? Я тебе запрещаю! — строго, почти даже грозно сказала она, но тотчас и улыбнулась, смягчая еле заметной шутливостью свой непререкаемый тон. — Я успокоить тебя приехала, а ты всполохнулась, как куропатка! Цело, цело твоё гнездо, не волнуйся! И птенцы твои сыты. Ма-мочка, ну, пожалуйста...

"Хватит, — подумала Нора, — пора выбираться отсюда... А то окопалась тут и сижу!"

Она оглянулась кругом, и — странно — взгляд ее вдруг прояснился: все люди, предметы (скамейки, деревья, кусты, ворота, забор) — ничто не струилось, не колыхалось, как раньше, а обретало четкие очертания, естественный цвет, как бывает с переводными картинками, когда с них бережно стянешь мокрую пленку.

— Мама, письмо, — напомнила Тата.

Нора вынула его из конверта и увидела размашистый, крупный почерк Ильи:

"Прости, Нора, прости меня, старого дурака, я не знаю, что со мной происходит. Теперь, когда главное позади, так уж и быть, признаюсь: твоя болезнь напрочь сбила меня с катушек. После твоей операции я ходил сам не свой, нервничал, хватался, как утопающий за соломинку, а когда, наконец-то, поверив, что все обойдется, взял себя в руки и пришел к тебе с этим чувством, с этой надеждой, ты... Но — ладно, не буду тебя упрекать. Пойми хоть сейчас: нельзя плыть по воле волн в океане печали, а надо править челном, энергично грести, отгоняя печаль от себя... Скоро полночь, сна ни в одном глазу, буду читать. Подумай, Нора, над тем, что я написал, — это опыт всей моей жизни. Целую, еще раз прости. Твой Илья".

— Ну как? — волнуясь, спросила Тата.

Норе письмо не понравилось, хотя и растрогало. Илья и писал его, зная наверняка, что Нора будет растрогана. И про челн все правильно, и про печаль. Что челном надо править, а печаль отгрести... А впрочем, печаль иногда нужна человеку. Она его просветляет. Да и челн хоть изредка стоит пускать по волнам...

— А знаешь, — сказала она, — от человека, и правда, много зависит. Кто в Ленинграде мылся во время блокады, тот выжил, это известно. А еще я знаю один удивительный случай: про летчика, который, получив три смертельных ранения, все-таки дотянул самолет до базы, посадил на землю и только тогда умер. Часто мы сами не знаем, на что способны... Тут у нас есть одна докторша, так она говорит, что житейская проза — великий лекарь. А по-моему, чувство долга. Вот, что врачует. Долг!

— Как ты грустно все это говоришь, — заметила Тата.

Она не ответила. Они стояли у самой ограды и смотрели на улицу. По тротуару шли люди, разговаривали, смеялись, кто-то сказал: "Моя с репетитором занимается", постукивали женские каблучки, тяжело прошаркал мимо старик с бутылкой кефира и четвертушкой хлеба в авоське, растянувшейся до земли. Банда парней — их было пятеро или шестеро — пристала к девчонке, та забавно, как козочка, боком, проворно отпрыгнула на мостовую. Потом, переваливаясь на отекших слоновьих ногах, проковыляла толстая женщина, но встала вдруг, словно споткнувшись, и, не видя, что за ней наблюдают, принялась озабоченно шарить в своем ридикюле, вытаскивать жалкие жеванные рубли, разглаживать их и складывать в пачечку, шевеля губами и вновь и вновь пересчитывая свой капитал. На мгновение она замерла, задрав голову, ошарашенно глядя в небо, стараясь, по-видимому, припомнить какую-то трату. Она стояла, как памятник домохозяйке, даже величественной, в извечной, горестной своей захлопоченности. Но тут женщина обернулась, увидела Нору, и глаза ее застеклил ужас.

Не меньший, однако, ужас испытала и Нора. Эта женщина с пачкой измятых рублей в руке, неухоженный, одинокий

старик с кефиром, веселые хамы, с дурным гоготом толкнувшие девушку, сама эта девушка, которая, отскочив, обозвала их новомодным газетным словом "тунеядцы!", фраза про репетитора, женские туфельки — все это была та жизнь "за оградой", от которой она успела отвыкнуть. Суматошная, повседневная жизнь. И теперь, когда окружающий мир уже не казался Норе расплывчатым и неясным, а излишне, до рези в глазах, ядовито раскрашенным, четким, — он снова ее напугал.

Тата все поняла. Она взяла Нору под руку, увела от ограды в аллею. Здесь было тихо, над головой благодатно шелестела листва, мирно прогуливались больные — все, точно зэки или монахи, в одинаковых одеяниях, отчего в их измученных лицах, в истомленных, недужных фигурах лишь явственней проступало то истинно человеческое, что было им от рождения свойственно, отцеженное страданием от наносного, от суеты.

А рядом шла взрослая девочка, поддерживала Нору под локоть, тактично молчала.. Будь Тата чуть-чуть грустнее, выкажи она беспокойство или, тем более, страх, — и Нора совсем пала бы духом. А если б она держалась на йоту беспечней, у Норы возникло бы чувство отверженности, быть может, уже безвозвратного своего отщепенства. Но Тата вела себя именно так, как следовало, и постепенно, шаг за шагом, душа умирала успокоением.

— Скажи отцу, что я тоже прошу у него прощения. Вчера, это верно, я что-то куксилась... Словом, он прав.

— Маму-уля! — воскликнула Тата. — Вот это не нужно.

— Да клянусь тебе...

— Не нужно, — повторила она.

КРАТКО ВЫРАЗИТЬ СУТЬ

— Не умоляйте меня, что за фокусы? — сказала Елена Ароновна. — Я сама знаю, когда вас выписывать. Не раньше следующей недели. А пока перельем вам кровь... Мушки летают

в глазах? То-то же... А как вы устроетесь с облучением?

— Буду ездить.

— Отлично. И завтра начнете тестостерон. Пора.

— "Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит", — с усмешкой сказала Нора.

А Елена Ароновна, обычно такая замкнутая, неожиданно подхватила:

— "Летят за днями дни, и каждый час уносит..." — но тотчас, словно бы поперхнувшись, умолкла.

Они остро переглянулись — как будто крючки запустили друг в друга — и Нора ушла.

Она спустилась во двор, побрела к аллее, бормоча про себя стихи, вроде вспомнившиеся ей невпопад, но столь отвечающие ее и, как выяснилось, не только ее настроению.

"...и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег..."

"Вот только, — думала Нора, — в какую обитель? Где она? И каких трудов?... И главное — каких "чистых нег"? Неги — это не про меня. Не про нас вообще. Не про нашу жизнь. Да и покой! Нет покоя у нас, нет воли. Ничего у нас нет".

— Нора! — окликнула ее Роза, бежавшая за ней во весь дух. — Иди скорей, тебя ищут! В процедурную, живо! На переливание крови!

— Спасибо, иду, — сказала она, как вдруг заметила Аурелиу, который шел по аллее, еще издали ей улыбаясь. Она по дождала его.

— Здравствуй, милая. Ты куда?

Нора ответила.

— Я тебя провожу, — сказал он.

Они пошли вместе к корпусу. Аурелиу молчал, она тоже.

— Можно задать вопрос? — спросил он внезапно.

— Конечно.

— Позавчера на тебя кричал муж. Я услышал из палаты и выглянул. Скажи... Он часто так на тебя кричит?

— Н-не особенно... — она покраснела.

— Я знал, — отвернувшись, сказал Аурелиу. — Я это давно, почти сразу понял. Но я не хотел о нем плохо думать. Вернее, не мог.

— Нет, нет, — сказала она. — Ты ошибаешься! В нем много хорошего. Честное слово. Не веришь?

— Тебе неприятно? — тихо спросил он. — Наверное, я не имел права... Прости. Но, с другой стороны, если бы я промолчал, это было бы, словно я устраниюсь... А это неправда.

— Я сама виновата, — быстро сказала Нора. — Вообще я жуткая эгоистка! Моя дочь гораздо лучше, умнее, добрее меня.

— Вы тут вчера гуляли, — сказал Аурелиу, — я наблюдал за вами... Она тебя очень любит.

— Не знаю. Она меня видит насквозь. А я вот не вижу ее насквозь... Я даже немножко ее побаиваюсь.

— Если немножко, то это неплохо, знаешь? — сказал он с улыбкой. — Я тоже побаивался своего брата. Потому что он был лучше меня. А теперь побаиваюсь тебя...

— Слушай, — сказала Нора, схватив его за рукав. — Давай уедем с тобой в Александров? Там яблонька у тебя под окном. Будем гулять у монастырской стены. Я буду варить тебе суп. От всех спрячемся. Я на машинке буду печатать. Я хорошо печатаю! Много ли нам с тобой нужно? Только покой и воля! У нас они будут. И труд. Физический труд, он чиистый! — вспомнились ей слова того шустрого старика. — А без неги мы обойдемся... Правда же, Аурелиу? На что нам какая-то нега? Это в девятнадцатом веке о ней мечтали... Да и тогда ее не было. А мы и мечтать не станем... Заведем черепаху... — она заплакала.

— Ну-ну, — бормотал он. — Ну-ну, моя девочка, ты иди, тебе сейчас перельют прекрасную, бодрую кровь... А насчет Александрова... Мы еще это обсудим, ладно?

Она улыбнулась сквозь слезы, он тоже ей улыбнулся. Они постояли минутку и разошлись.

В процедурной уже лежала какая-то женщина. Ей тоже переливали кровь. Нора легла на соседний топчан. Сестра

вогнала ей в вену иглу, потом вышла, и Нора с женщиной остались наедине. Обе молчали. В автоклаве что-то булькало и потрескивало. У окна жужжала огромная синяя муха, вновь и вновь налетая и стучаясь о стекло с обреченностью камикадзе.

— Что у вас? — спросила вдруг женщина.

— Грудь, — ответила Нора. — А у вас?

Она давно поняла: когда незнакомому человеку задают здесь вопрос о его болезни, это попросту означает, что хотят рассказать о себе.

— У меня лейкемия, — сказала женщина. — Но я ничего, не жалуюсь, я согласна.

— То есть, как?

— А так, согласна, и все. Но дочка, дочка... Что с нею будет?

— Маленькая?

— Нет. Но она больная. Туберкулез. Да какой! Кишечника! Вы, небось, о таком и не слыхивали. Мы сами не знали, пока не свалилась эта беда. Про себя я не думаю, я не жалуюсь, нет! Но дочка... Что с нею будет?

— Где она?

— В санатории. А иначе — как мне в больницу? Я ведь нянька при ней. Но нам повезло, я достала путевку на целых два срока. Отправила и скорее сюда.

— Вы не москвичка? — спросила Нора, понимая, что теперь ее собеседнице нужны лишь коротенькие вопросы, от которых, точно костер от сухих щепок, еще жарче займется ее и без того горячая речь.

— Родилась-то я в Кривоколенном, знаете этот миленький переулочек? Но потом... Ну да ладно, это совсем другая статья... А сейчас мы в Ташкенте. Привыкла, живу, и если б не климат... Но не думайте, что я жалуюсь. Нет! И какое счастье, что выбила Ире путевку. Уж так повезло! Все-таки мир не без добрых людей.

— Это верно.

— Прихожу к своему профсоюзному боссу (без всякой, заметьте, надежды, — потому что, хоть я и работаю в Акаде-

мии, но ведь мелкая сошка, младший научный сотрудник!) и нахально прошу путевку. Даже требую, представляете? А он, добрейшей души человек, говорит: "Будет тебе путевка, достану". Но я не верю: "Нет, правда? А вы не обманете?" Он даже брови вскинул: "Когда я тебя обманывал?" Сижу, хмурюсь: ведь прошлым летом он меня за нос водил. "Обманывали", — вздыхаю. Смеется: "Вот и видно, что русская женщина. Мусульманка бы так не сказала! Ты вот что, — придешь через две недели, а пока напиши на меня рецензию". Что будешь делать? Пишу. А время идет, а Ирочке надо лечиться, да и мне с моей лейкемией... Ладно. Являюсь. "Поехали", — говорит. "Куда?" — "Э-э, сразу видно — русская женщина. Мусульманка бы не спросила". Молчу уж, не спорю. Садимся мы в "пирожок", машина такая, пикапчик, едем в Союз композиторов. Там он с шутками-прибаутками — вы, мол, нам, а мы вам, — выбивает Ире путевку. Ни то, ни се — один срок. Что нам двадцать четыре дня? В Москве ведь тоже надо поклоняться, чтобы дали иногородней место в больнице! Но надо же — повезло: встречаю знакомого. "Ерунда, — говорит. — Вот у женки моей трагедия, так трагедия: не может диплом до ума довести. Не посмотришь? А она, мол, тебе путевку устроит". Засела я за диплом. Там, понятно, и конь не валялся. А диплом про поэта Рождественского. О, Господи, думаю. Однако с грехом пополам написала, ташу. Ну и в обмен на этого самого Роберта — они мне путевку, да не подряд с моей первой, а через месяц... Я чуть не плачу. Выходит, напрасны были мои старания! И вот же нельзя так думать. Опять повезло. Попался один аспирант. "А вы, говорит, к Сергееву обратитесь". — "Кто таков?" — "Сергеев-то? Из фельдъегерской службы ГБ". — "Да при чем же тут эта служба?" — "Нет, говорит, вы чудачка! У них не то, что сроки путевок, луну, говорит, на звезды запросто обменяешь! Скажите, что от меня. Я ему кое-что делал". Иду искать эту службу. А она, между прочим, закамуфлирована: ни таблички нигде, ничего. Битый час бродила вокруг да около, пока надо мной не сжалился один старичок-узбек. "Чего потеряла?" — и тычет пальцем в их особняк. Ладно, иду. Выходит

этакий хлюст: "Что у вас?" — говорит. Я объясняю. "Ну, это раз плюнуть!" — и тут же осекся. "Вы где работаете?" — "В Академии". — "А нет ли у вас в Университете знакомых?" — "Нет, — отвечаю, — увы". — "Жаль, жаль, — говорит. — Прямо не знаю, как быть с путевкой-то вашей". — "А что?" — "Да сынок у меня поступает, а он прошлый год провалился по математике". — "Привет", — говорю, а сама уже думаю: "Кто там есть у меня знакомый из математиков?" Ага, муж соседки по дому, ура, до чего же удачно сошлось! Лечу к ней: "Фарида, помоги!" И, как заклинание, добавляю одну узбекскую фразу: мол, буду прислуживать на свадьбе твоих сыновей. На эти слова отвечать отказом у них не положено. Не гостем, дескать, приду, а прислужой... "Хорошо, — говорит, — пошли к мужу". Муж выслушал все и сказал: "Больше тройки не обещаю". Бегу в особняк. "Товарищ Сергеев, тройка вам обеспечена!" И все, и кончилась эпопея. Я считаю, очень удачно. Отправила Ирочку в санаторий, а сама, не теряя часа, в Москву... Как вы думаете, когда меня выпишут? Мне в середине августа надо вернуться в Ташкент. Хоть на карачках, хоть как.

— Поговорите с Еленой Ароновной. Она человек хороший.

— Хороший-то вроде хороший. Да больно суровый.

— К ней надо с подходцем. Главное, кратко выразить суть.

— Попробую. Мне бы за этот месяц чуточку подлечиться, хоть годик еще протянуть. И, может, за это время — кто знает? все-таки молодой организм! — Ира поправится, а? Или нет? Как вы думаете?

— Конечно, конечно...

Вбежала сестра, покрутилась немного, исчезла. Опять стало слышно муху, которая с тем же упорством билась жужжа о стекло.

— Что-нибудь бы одно, — тоскливо сказала женщина. — Была бы она у меня красивой... А то ведь... Как ей жить без меня?

— Помилуйте! — воскликнула Нора. — Да мало ли некрасивых на свете! И еще какие бывают счастливые! И замуж выходят, и все.

— У Ирочки — горб, — сказала женщина. — И это я виновата, я ее уронила... На ходу задремала и выронила из рук.

— Как так на ходу? — удивилась Нора.

— Вот так! — иступленно вскричала она. — Кратко выразить суть! Иную жизнь, возможно, и выразишь в двух словах, а мою... Не могу я сейчас умирать, поймите! Рано мне умирать! Я прежде должна расплатиться!

— С кем?

— С дочерью!

— Расплатиться? Что за странное слово! — сказала Нора.

— Да, да. Настал мой черед. Было время, я ею спасалась, ею себя защищала, а теперь я должна защитить ее.

— Я что-то не понимаю.

— Где вам это понять? Что вы видели? А вот я, когда в тридцать седьмом забрали отца и мать, каждый вечер ждала, что придут и за мной. И совала нож под подушку... Живая не дамся! Да крепок у молодых первый сон, звонка не услышала, им открыли соседи, схватили меня еще сонную и повезли. Кстати, в том "черном вороне" (я больше таких не видела) были отсеки, вроде, как банные шкафчики, на одного человека, меня втолкнули, нажали на дверцу, заперли, а там уже кто-то стоял. Так мы и ехали с ним, дыша друг другу в лицо, в темноте. Кто это был, не знаю... А следовательно... Совсем попался мальчишка, носик точеный, статуэтка из терракоты, даже руки породистые. Эх, узнать бы, где он теперь, да плюнуть в гладкое личико! Долго я смаковала эту мечту: что я скажу ему, что он ответит, и как я плюну. Ведь что удумал! Приводят меня на допрос, а он говорит: "Я занят, встаньте в тот угол, за сейф". Я встала. А он так лениво поднялся и чуть его пододвинул. Но так, что мое плечо оказалось прижатым к печке. Надеюсь, вы угадали, что печка топилась? Это был раскаленный уют! Я плакала, умоляла, потом потеряла сознание... Да что вы можете понимать? Ничего вы не понимаете! Для вас это сказки про бабу-ягу — жутко, но интересно... Но все-таки это куда ни шло, принимаю, согласна! А вот на этапе... Я уже старая женщина, мне не стыдно признаться. Три уголовника... Словом, я понесла.

Я хотела себя убить, да мои товарки меня отходили и даже аборт не дали мне сделать: "Дура, оставь, ребенок — твое единственное спасение!" Я и оставила. А вы еще смее спрашивать, как я ею спасалась! Ну, а теперь скажите, ответьте: имею право я умереть? И как в двух словах изложить все это Елене Ароновне? Мне хоть бы годик выклянчить у нее, всего один годик! Я же скромненько, скромненько... Лишью я никогда не прошу.

Нора молчала.

Вошла сестра, вынула у них у обеих иглы, отнесла в стиральную машинку.

— Как чувствуете? — весело спросила она.

— Прекрасно, — ответила Нора. — Очень бодрая кровь.

— А мне почему-то холодно, — тихо сказала женщина. — Даже зубы стучат.

— Реакция, — объяснила сестра. — Полежите немного, пройдет. Счас накрою вас одеялом.

— Холодно, холодно, — вся сотрясаясь шептала женщина.

— Фу, ч-черт, как холодно...

КАПРИЗНЫЕ ДАМЫ

Вечером Нора уютно сумерничала в палате под легкое погромыхиванье вдали и пощелкиванье на ветру занавески, когда вошла Катя.

— Пришла проститься, — сказала она. — Завтра выписываюсь.

Лицо у нее уже было нездешнее, городское. Его выражение было сегодня особенно безысходным, но и с оттенком ухарства, отчаянного удалства на показ: где, мол, наше не пропадало! Словно тут, в больнице, среди своих, у Кати еще оставались шансы на жизнь, но вот она сама обрубил концы и отчалила от их идиллической пристани.

В полутьме, как драгоценные камни в оправе, остро взблескивали ее подведенные тушью глаза, а лицо было снова намазано тоном, отчего оно вызвало в памяти Нору факон-

ский портрет. Впервые Нора представила себе Катю не на фоне больницы, а дома, возлежащей на диванных подушках, с бокалом сухого вина в руке, в золотистом, под самое горло, платье и непременно с серьгами в ушах. С чего это Нора вообразила, что Катя напоминает курсистку? Из-за малярной кисточки на затылке? Из-за веснушек? Но сегодня она причесана гладко, строго, что в сочетании с подведенными на какой-то египетский, погребальный манер глазами придавало ей очень изысканный вид.

— О чем ты задумалась, Нора? — спросила она.

— Так, ни о чем...

— А тогда послушай, я принесла тебе в клюве одну мышь, — сказала Катя. — Вот она: у людей атрофия памяти. Никто ничего не помнит. Все стараются поскорее все позабыть. Дворяне — свое дворянство. Царские офицеры — свою офицерскую честь. Хлебоборбы — коня, обычаи предков. Купец — свою лавку. Еврей, армянин, эстонец — свою национальность. Старуха — свою приходскую церковку. Интеллигент — свои убеждения. Все, что было главным для человека, самым для него дорогим, самым ценным — его стержнем, основой личности, то как раз и забыто, попорно. А память, ведь это опора нравственности, ее фундамент. Пока прошлое в нас живет, мы люди. А когда умирает, мы сразу — ничто, навоз! Почему так настойчиво вытравили, вытапывали в нас память? Чтоб превратить нас в саман! Строй из него, что хочешь, — ломом не разобьешь! Хоть и навоз, а держится крепко. Потому, возможно, и держится, что навоз! Это и есть моя мысль, Нора. Я до нее сегодня дотумкалась.

"Вот-те и дама", — подумала Нора.

— Интересно, — сказала она. — Я ведь тоже всегда стыдилась своего воспитания — может быть, лучшего, что во мне есть. Старалась подделаться к речи простых людей, к строю их мыслей. Да только не замечала, что и они порой лишь играют навязанную им роль. Все мы были статисты в каком-то вселенском спектакле. Но я играла всерьез, а они... Они надо мной потешались. И вот, что я сейчас поняла: у каждого на земле свое назначение, и никто, никто не должен себя сты-

диться. В том числе, и интеллигенты... А мы предаем свою миссию... Мы позволяем творить из нас саманное тесто...

— Именно... — проворчала Катя.

Они посидели минуту в молчании. Залопотала, резко захлопала о край подоконника занавеска.

— Да! — вдруг сказала Катя. — Чуть не забыла... Аурелиу слег. Зайди-ка к нему. Он тебя ждет.

— Уж ты скажешь...

— А вот и скажу. Черт знает, какой кошмар, что он умирает... Из вас получилась бы славная парочка. Честное слово, я даже завидую.

— Не завидуй, — сказала Нора, — все так сложно у нас... А что с ним?

— Что, что... Печень.

Занавеска взлетела, надулась парусом, и в палату пахнуло свежим прохладным ветром. Застучал по стеклу дождь.

— До чего же скоропалительно здесь возникают романы, — сказала Катя, — ну, будто в больнице живут по иному, не нашему времени! По Эйнштейну, что ли? Как на ракете, летящей к Марсу или Венере. В два-три дня промелькивают целые фазы любви: миг — на пристрелку взглядов, час — на галантности, а уже к вечеру стадия робких прикосновений перерастает в пожар, в страсть, которая длится месяц... Аурелиу сейчас пребывает в зените.

— Откуда тебе известно? — спросила дрожащим голосом Нора.

— Господи Боже! Да ты у него с языка не сходишь! — воскликнула Катя. — С этой темы его не собьешь, я пыталась. Распустит глазищи в разные стороны и — Нора да Нора...

Сверкнула молния, и лицо Кати высветилось контрастно и страшно, как негатив.

— Правда, не поручусь, — язвительно прозвучал уже в темноте ее голос, — что крылышки у него не из воска и что в ближайшем будущем они не расплавятся!

"Она влюблена! — такой же молнией сверкнула догадка у Норы. — В тот вечер, у телевизора, она говорила о нем... Что есть, мол, один человек, для которого... И все-таки она

дама. Злая дама со скифскими золотыми серьгами в ушах!"

— Ну, хватит трепаться, — сказала Катя, словно подслушав ее мысли. — Я обещала тебя пригнать. Наводи марафет. Ты что? Неужели так и попрешься? На кого ты похожа? Дай-ка расческу... Вот так. Челочку... Очень мило. Когда ты отсюда выйдешь, я из тебя красавицу сделаю. Подарю тебе черный свитер, сварганю красную юбку — будь-будь!.. Ну, что ты стоишь? Он ждет тебя... Ах, какой ливень! Роскошный фон для свидания. Ничего не смыслит! Такой сухарь...

— Катя, ты прелесть, — сказала Нора.

— Ну да, прелесть, — огрызнулась она.

Нора медленно шла коридором мимо длинного ряда окон, о которые, как о приморскую дамбу, плескались волны дождя. Внезапно все они разом вспыхнули фиолетовым светом и так же разом погасли.

В мужской десятой палате горела яркая лампочка. Койки стояли тесно, и под самым окном, вдоль батареи центрального отопления, — правда, сейчас холодной, — лежал Аурелиу. Окно за ним было ярко блестящим и синим, по стеклу неровными серебристыми струями неустанно бежали капли. Аурелиу раскладывал пасьянс, близоруко нагнувшись над табуреткой. Остальных мужчин не было: вероятно, смотрели футбол, который сегодня передавали по телевизору.

— О, наконец, — сказал Аурелиу, откинувшись на подушку.

Нора присела к нему на кровать.

— Что с тобой? — спросила она. — Тебе плохо?

— Теперь уже лучше, — он улыбнулся. — Тебе идет такая прическа.

— Это Катя.

— Знаю. Ты бы так не сумела... Нора, душа моя, — он взял ее за руку. — Я — негодяй.

— Что за глупости!

— Да, негодяй. Отыявленный. С первой минуты, едва мы с тобой познакомились, с той пресловутой монетки, я вел себя, как соблазнитель, как самый последний пошляк. Мне стыдно. Прости меня.

— Так ты это все нарочно? — спросила упавшим голосом Нора.

— Почти. Это я так интересничал... Увидел наивное существо, ну и... Господи, одной уж ногой в могиле стою! Господи, мало мне прежних грехов! И тех-то еще... Господи! Нора, родная, прости.

Он отпустил ее руку и спрятал лицо в ладонях.

— Не верю, — тихо сказала она.

— Чему ты не веришь? — он даже привстал на локтях.

— Что ты не любишь меня.

— Как сестру! — отчаянно крикнул он. — Как сестру!

— Нет, — помотала она головой.

Откуда была в ней эта уверенность? В ней, с ее комплексами? Но его она знала уже хорошо. Если бы он ее не любил, он не стал бы этого отрицать. Нет, не стал бы. Он бы ее пожалел.

Аурелиу откинулся на подушку.

— Как сестру, — повторил он сквозь зубы.

Удивительно! Когда он лежал в постели, он казался выше, моложе, даже красивее. Он отвернулся, глядел на окно, и Норе был виден его высоченный лоб, еще увеличенный глубокой залысиной, скула и впадина бледной щеки, небольшое ухо, уголок рта, подбородок, прямая линия шеи — и все это, каждая черточка его облика была европейской, полной изыска без изнеженности — вплоть до формы его руки, его пальцев, длинных, но сильных и твердых.

— Аурелиу, — сказала она. — Я тоже хочу повиниться. Про Александров я просто так сегодня болтала. Потому и болтала, что знаю: немыслимо это, невыполнимо.

— Да-да, — с готовностью закивал он.

— Мне бы сейчас сказать, что и я тебя тоже, как брата, и прочее... Но не хочу. Я честнее тебя. А немыслимо, потому что — куда же детей? Да и мужа?.. Но я тебя не покину. Можешь придумывать, что угодно, если так тебе легче. Я все равно тебя не покину.

Аурелиу затрясся и снова спрятал лицо в ладонях.

— Чего ты? — сказала она. — Ведь все хорошо.

Он не ответил. Тогда она развела его руки в стороны — лицо было мокрым.

— Не надо, не злись на себя, мой милый. Ты дрался, как лев.

Она нагнулась и приложила его ладони к своим щекам. А он, зажмурившись, отворачивал голову то туда, то сюда и бормотал:

— Что она делает, неразумная, что она делает?

Вывав внезапно руки и приподнявшись, Аурелиу наикось полоснул ее по лицу черным взглядом — как черным клинком.

— Глупая, взбалмошная ты женщина! Пойми, наконец, что я не имею права!

— Имеешь, — сказала она.

— Не имею!

— Имеешь.

— Нет! Нет! — закричал Аурелиу и, медленно-медленно к ней потянувшись, дотронулся до ее рта горячими, тугими губами.

— Кончено, кончено, — приговаривал он между вдохом и выдохом, — теперь мы погибли, кончено!

Потом, побледнев, он лег на спину.

— Нора, — сказал он, прикрыв глаза, — Я считаю своим неременным долгом...

— Молчи, — прервала она его.

— Я считаю долгом сказать...

— Не желаю слушать!

— Что через месяц, самое позднее — через два...

— Аурелиу!

— Я сказал. Беги, Нора! Еще не поздно. Беги. Сломая голову, не оглядываясь!

— Слушай, тебе не стыдно?

— Нисколько. У русских есть выражение: чужой век заедать... Это бессовестно, это гнусно.

Стало тихо в палате. Только ливень шумел за окном.

— Ладно. Тогда ответь, Аурелиу, — Нора немного поколебалась. — Мы с тобою... одно?

Он молчал.

Она знала, что это — запрещенный прием, но минута была решающей, поворотной.

— Ты, мама и брат были одно существо... А мы? Скажи честно. Загляни в себя и скажи.

Аурелиу молчал. Он был бледен, на лбу его выступила испарина.

— Не хочу отвечать, — выдал он наконец.

— Но это и есть ответ, — быстро сказала Нора. — А значит, ты не заедаешь мой век, он у нас теперь общий... Понял? — Она склонилась над ним и прошептала в самое ухо: — Когда-нибудь, не сейчас, ты меня еще поцелуешь?

Аурелиу почти оттолкнул ее и потряс кулаками:

— О, легкомыслие!

В этот момент мужчины, шумно переговариваясь, толпой ввалились в палату.

— Смотри-ка, он тут амурничает! — воскликнул один.

— Больной-больной, а время зря не теряет!

— Молодец, так и надо, правда же, девушка?

— Ну, объясняйте же ваш пасьянс, — улыбаясь, сказала Нора. — Как он там называется?

— "Капризные дамы", — только и покачал головой Аурелиу.

— Вот и давайте.

Он что-то начал ей толковать, но слишком уж явно было, что Нора ни слова не понимает да и не слушает, и Аурелиу смешал карты.

МОЛИТВА

Отныне они и часа не могли прожить друг без друга. Едва выдавался просвет между врачебным обходом, едой, уколами и облучением, Нора летела к нему в палату. Аурелиу прочно уложили в постель: к вечеру у него поднималась температура, по временам он страдал от острых приступов боли, но переносил их стойчески, и даже голос у него не менялся, и улыбка не сползала с лица, так что никто, кроме Норы, не понимал, как ему худо. Но она это знала не только лишь потому, что видела, как внезапно бледнеет его напряженно улыбающееся

лицо, а еще и по собственным ощущениям: ей тоже делалось дурно, на лбу выступал пот, ныло, сосало где-то под ложечкой. "А мы и впрямь превратились в одно существо", — удивлялась она. Однако, чтобы его не тревожить, вслух об этом не говорила. Но Аурелиу, по-видимому, догадывался об ее состоянии, потому что, едва его боль отпускала, он спрашивал:

— Как ты, девочка?

— Хорошо, а ты?

— И я хорошо, — улыбался он.

Мужчины, вдоволь над ними позубоскалив, все же старались оставить влюбленных наедине. Это почти не меняло их поведения. Они продолжали тихо и мирно беседовать, разве что взявшись за руки. Аурелиу подробно расспрашивал ее про детей, про Илью, вникая в каждую мелочь их быта, их отношений, и говорил: "Я все хочу знать про тебя, все до капельки", и столь же охотно и просто рассказывал о себе.

Иногда он просил ее что-нибудь почитать и, так как единственной книгой, какую она прихватила в больницу, был том Толстого, то Нора читала "Хаджи Мурата", и он кивал и хмыкал от удовольствия как раз в тех местах, которые ей особенно нравились.

А он прекрасно знал французских поэтов и мог часами шпарить ей наизусть из Рембо, Верлена, Бодлера:

C'est la Mort qui console, hélas! et qui fait vivre;

C'est le but de la vie et c'est le seul espoir...

нараспев читал он.

У нее было детское знание языка и не слишком богатый словарный запас, смысл стиха от нее порой ускользал, зато так приятно было внимать полузабытой французской речи, ей казалось, что это отец, сквозь годы и годы, обращается к ней с того света, она просила: "еще, еще!", и он начинал:

Les sanglots longs des violons...

И Нора подхватывала:

Издали лется тоска скрипки осенней...

Но бывало — от одной, как будто незначащей фразы, от одного чуть более долгого, более томного взгляда, от легкой

дрожи в сплетенных пальцах — Аурелиу и Нора, словно в помрачении ума, кидались друг другу в объятия и целовались с таким неистовством, с такой торопливой жадностью, будто их вот сию минуту схватят за плечи и грубо растащат в разные стороны.

Оттого ли, что в палату в любой момент мог кто-то войти, или же потому, что в этой больнице люди и правда, как говорила Катя, живут по законам быстротекущего времени, а может быть, потому, что и Нора и Аурелиу знали, что у этой печальной любви нет будущего, но поцелуи их были горьки, и примешанный к плотской страсти полынный привкус лишь придавал ей особое благородство. Как на военных проводах — вокзал, теснота на перроне, шум, гам, толкотня, электрические часы неумолимо отмеривают минуты, прыгает стрелка, и надо успеть сказать что-то самое главное, и напутствовать уходящего, и обнять, да так, чтобы обоим запало в сердце и память (быть может, уже навечно!), и просто, припав на плечо, поплакать... Вот все это, вместе взятое, незримо присутствовало в их жгучих, отчаянных поцелуях.

Как-то вечером, возвращаясь после отбоя в свою палату, Нора зашла в умывальную — сполоснуть перед сном лицо. Не зажигая света и оставив полуоткрытой дверь в коридор, она прошла к дальней раковине, рядом с которой была на стене сушилка, и пустила воду. Вдруг до нее донеслось чье-то сдавленное рыдание. Она прикрутила кран, прислушалась и спросила: "Кто тут?" Никто не ответил. Решив, что ей показалось, Нора принялась умываться, потом включила сушилку, и сквозь ее унылое завыванье, теперь уже явственнее, пробилась не то всхлип, не то стон. Нора нащарила выключатель, зажгла свет, огляделась — нигде никого. А между тем, она больше не сомневалась, что тут кто-то есть. Она подошла к двери, отвела ее от стены и там, в углу, увидела сидящую на корточках Томку. Та смотрела на нее снизу вверх блестящими, как у зверька, затравленными глазами.

— Ты чего? — спросила Нора, тоже опустившись перед нею на корточки.

— Чего, чего... — окрысилась Томка. — Спина болит, вот чего. Копчик... Подыхаю, видать. Не иначе — саркома.

— Да погоди ты — саркома! Что врачи говорят?

— На пушку назначили. С завтрава... Да чего эта пушка поможет, когда я. Нора, гнию. Гниют мои косточки, чувствую я, как они, одна по одной, у меня там сзади отваливаются!

— Ну что ты городишь, Томка!

— Точно тебе говорю — отваливаются! Вот как у кошки моей. Приблудилась зимой и — глянь! — хвост у нее по кусочкам отпадает... Соседка — в одну дуду: отморозила, мол, а я теперича думаю, может, у кошки саркома была.

— Жива твоя кошка?

— Живехонька... Только что без хвоста, а так-то — гладкая стала, чертяка!

— Ну, видишь? Значит, и правда она его отморозила... Пойдем-ка в палату.

— Но-ора, — взмолилась Томка, — Но-ора, а что ж так спина-то болит? Гниет ведь она у меня, я уж вроде и запах чую... Отпадают мои косточки одна по одной, я и руками щупала — жидко там у меня, горячо, и хребта внизу, похоже, что не осталось... Потрогай вот, коли не требуешь.

Она привстала, задрала халат, приспустила трусы, обнажив молодое, здоровое, белое тело.

— Тутотка, — показала она рукой, — жми, не бойся, буду терпеть. Есть косточки или нет? Только не ври... Ай, что ж ты, милая, больно!

— Да вон же он, позвонок, — честно щупала Нора. — И еще, и еще... Цел хребет у тебя, не сгнил.

— А врешь, — недоверчиво обернулась к ней Томка. — Щупай-ка лучше.

— Давай руку, — сказала Нора. — Это что тебе? Позвонок? Теперь выше... Ну, что?

— А горячо почему? — спросила, опустив халат, Томка.

— Больное же место, ну и горит.

— Как этот, хурункул там у меня: дергает, рвет... Погляжу, если пушка поможет, а нет — Мишаня дал мне зарок: отравить.

— Господи, Томка, молчи.

— Чего молчать, Нора. Отравит, и все. Я б тоже ему не позволила заживо гнить... Ты не думай, он у меня золотой. А только надо жалеть один одного, на то мы и люди.

Они погасили свет и побрели, обнявшись, в палату. Томка передвигалась с трудом. Чувствовалось, что каждый шаг дается ей с болью. Но она уже не стонала, не жаловалась — терпела без звука.

Нора легла и задумалась о данном Мишаней зароке: отравить ненаглядную свою Томку, лишь бы ее оберечь от бессмысленных мук. А сам-то что же — на каторгу? Ну, ясно, что это пока слова, а до дела дойдет, так он, скорей всего, не решится... И все-таки. Могла бы Нора, пускай из самых гуманных соображений, убить Аурелиу? Даже страшно подумать. А если б она его видела в жутких предсмертных корчах? А если бы он просил, умолял ее: "Нора, убей!?" Нет, заранее тут ничего не решишь. Надо дойти до последней, конечной черты, как дошел, видать, этот дюжий парнище (и ведь дойдешь, коль жена начнет уверять, что гниют позвонки!) — тут уж, пожалуй, рухнут любые установления, все нормы и правила побоку, и человек, оставшись один на один с собой, повинуется только голосу совести или наитию свыше.

Лишь Смерть утешит нас и к жизни вновь пробудит,

Лишь Смерть — надежда тем, кто наг, и нищ, и сир...

Слезы залили Норе лицо. "Господи, — как в незапамятном детстве, сложила она ладони в мольбе, — не оставь меня, Господи всеблагостью, укажи, научи!"

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Этот день был полон событий и потрясений. Для Норы он начался тем, что ранним утром, еще до обхода врачей, нагрянула Тата.

— Папа уехал в командировку, — сообщила она.

Несколько дней Илья был тих и задумчив, подолгу бродил в лесу, не работал, а вчера разразился длинной сердитой речью, смысл которой сводился к тому, что ему надоело это растительное существование, что он не желает жить "применительно" к мамочке, что пусть кто угодно играет при ней роль "мужа-мальчика, мужа-слуги", а ему недосуг, и завтра же он уезжает... Куда? Хоть к дьяволу, к черту в пекло — все лучше дачного омерзительного безделья, невыносимого для него, как и для всякого честного человека, если он окончательно не заплыл желтым салом!

Тут он начал хватать с веревки свои рубахи, воротнички и манжеты которых еще не успели высохнуть после стирки, под громкие lamentации тети Домны скомкал и запихнул их все в саквояж, заявив, что он — не безрукий и сам прекрасно сумеет их выгладить, что лично ему — домрабы не нужны, что он — не Нора и не какой-нибудь ихний там Пастернак, привыкший "выковыривать изюм певучести из жизни сладкой сайки", что он, Илья, поедет в тайгу, в пустыню, на целину, на строительство газопровода, нового химкомбината или в совхоз, к трудовым людям, к своим братьям по духу, и там, среди них, наконец-то глотнет живой, а не мертвой воды.

После чего, никому не сказав "до свиданья" и ни разу не оглянувшись, он торжественно удалился под звук фанфар, которые, вероятно, трубили в его ушах, но поздним вечером, уже в темноте, зачем-то вернулся на дачу, веселый, с командировкой от "Совхозной газеты" в кармане, с тремя дынями и огромным арбузом в авоське.

— Завтра лечу в Ростов, — объявил он, — а сейчас мы устроим пир, будите Антона.

Ребенка подняли, все на ночь глядя наелись дынь и арбуза, а утром, когда проснулись, Ильи уж и след простыл.

— По правде сказать, мы рады, — закончила Тата. — Хоть чуточку от него отдохнем. Знаешь, мама? Он давит. Он так на нас давит на всех! Даже, когда не читает нотаций. Да и ему ведь полезно слегка развеяться, верно?

— Я думаю, да, — ответила Нора.

Они крепко расцеловались, и Нора заторопилась обратно, чтобы поспеть к обходу.

Вот тут-то и стало известно, что Алю выписывают. На днях ей сделали операцию — под местным наркозом, не радикальную. Вырезав опухоль, грудь девчонке спасли, и теперь отпускали домой, приказав являться в больницу на облучение. Аля сложила вещички, помчалась сначала за справкой к сестре, потом — на склад за одеждой и, когда возвратилась в палату, все так и ахнули, до того она была хороша.

— Ну, чисто — Колдунья!.. Какой материальчик-то, штапель? — невинно спросила Томка, щупая грубыми пальцами подол голубого нарядного платья.

— Ты что это, Томка? — даже обиделась Аля. — Штапель!.. Кто его нынче носит? Джерси!

Томка поджала губы.

— Откуда нам знать? Мы — люди простые, не то что...

— Ладно вам, девки, ссориться!.. Ты телефончик оставь, не забудь, — сказала с постели Паня, которая все еще маялась с какими-то осложнениями.

Женщины быстро схватили бумажки — записывать номер. Аля продиктовала. Одна Этери не шелохнулась — упорно смотрела в окно. Лицо ее было сегодня совсем расплещенным: грелка и грелка. Разве что только не булькало.

Роза пошла с Алей — проводить ее до ворот, но уже через две-три минуты влетела назад в палату с выпученными глазами:

— Бабы, бабоньки! Верушка померла!

— Брось ты! — ахнула Томка.

— Вот энто история... — Паня всплеснула руками. — У ей же не рак!

— Мало-мало ошибку давали: искали в желудке, а рак-то вон куда, в печень залез, — ответила Роза.

— О-ой, мамочки родные! — воскликнула Паня. — Видать, потому и желчь у ей разлилась! Да-а... Вот тебе и тип-топ у Верушки нашей!.. Когда ж она — седни?

— Да всего полчаса! Пока мы тут телефончик записывали... Ой, до чего же кошмар! Иду, а ее как раз ширмами загораживают! — Роза была вне себя.

Баба Надя, которая все это время заплетала свои косички, расстелив для опрятности на коленях чистый платок, аккуратно стряхнула его, повязалась и осенила себя крестным знамением. Все помолчали.

— Побечь, Карловне доложить, — встрепенулась Томка.

— А может, не стоит? — с сомнением сказала Нора. — Зачем ее волновать?

— Ну как же! И ей ведь, поди, интересно, ты что!

Иоганна Карловна до сих пор находилась в послеоперационной: силы ее не только не восстанавливались, а как бы даже и убывали. Она осунулась, посерела лицом, приумолкла. Что-то было в ней замороженное... Нора проводывала ее, но Иоганна Карловна оставалась и к посещениям, и к любым разговорам глубоко безучастной. "Я закрою глаза, хорошо? — говорила она устало. — Не думайте, я не сплю, я вас слушаю, слушаю..."

Но она не слушала. Не то, чтоб спала, — нет, А словно парила где-то среди облаков, далеко от грешной земли.

— Ладно, ты давай к Карловне, а я к Берте, — вскочила и Роза. Она, конечно, жалела Веру Георгиевну, но слишком казалось обидно так скоро расстаться с ролью главного информатора.

Что касается Берты, то она давно вернулась в палату. Но от первых же сеансов рентгена у нее получился сильный ожог, который сама она объясняла так: "У меня не кожа, а что-то особенного, настоящий пэрсик!" Она без конца приставала к сестрам, чтоб они ее чем-нибудь смазали, но потом принималась жаловаться, что от цинковой мази у нее все чешется и свербит, от рыбьего жира ее просто "в ригу тянет", а белье уже до того заскорузло и провоняло, что это — нечто! "Разве у нас рубашки? — ныла она. — Ну, я вас спрашиваю! Это же не рубашки, это дерюги!" И, вызывая величайшее презрение Этери, разгуливала по палате в трусах — этаким толстым розовым чудищем со свисающей на живот единственной грудью. А как-то ночью поперлась в таком непотребном виде в уборную.

Поскольку никто не хотел ее больше слушать, Берта спустилась во двор, подсаживалась к незнакомым больным, роптала и хлюпала носом. Сегодня она исчезла сразу же после обхода и даже не соизволила попрощаться с Алей.

Томка и Роза ушли. В палате остались Паня, Нора, Этери и баба Надя. Паня тихонько плакала, отвернувшись к стене. А баба Надя лежала с таким просветленным лицом, будто вслушивалась в зауспокойное церковное пение. Норе даже казалось, что она ему подпевает — слабеньким, ломким, старушечьим голоском. Этери смотрела в окно.

Первыми возвратились Роза и Берта.

— Ну, как вам нравится? — закричала Берта, с размаху плюхнувшись на кровать — да так, что загудели пружины. — Этому нет названия! Зачем тогда было ее поздравлять? Только ввели больных в заблуждение! Если у них и поздравленные умирают, как мухи, то что будет с нами, ну я вас спрашиваю? Со мной, например?..

Ей не успели ответить, потому что в палату вошла Томка. Она осторожно прикрыла дверь и осталась стоять, крепко вцепившись в латунную ручку. Томка безмолвствовала, но что-то было такое пришибленное во всем ее облике, что все усталились на нее, не решаясь задать вопроса. Берта, и та присмирела, выкатив водянистые голубые глаза, и даже царственная Этери повернула к ней голову. Томка напоминала деревенскую девочку, заблудившуюся в многолюдье столицы. И перепуганную до немоты.

— Карловна... — наконец, прохрипела она.

— Что? Что? — завопили со всех сторон.

— Без сознания Карловна наша... Кончается! — ответила Томка, сползая вдоль двери на корточках.

Вот так же она сидела тогда в умывальной.

"Люблю, чтоб все наши были на месте", — вспомнила Нора слова старой немки.

Сколько же их осталось теперь? И кто следующий?

РЮКЗАК

— Аурелиу, меня выписывают, — сказала Нора, подсев к нему на кровать.

Он отложил книжку, снял очки и посмотрел на нее своим темным, косым, обнимающим взглядом.

— Ты расстроена, детка?

— Ничуть, — сказала она.

— Вот и умница.

Нора ему улыбнулась. Однако лицо ее, видимо, было не слишком веселым, потому что сосед Аурелиу, дядя Колян, сказал:

— Вы же будете приезжать на рентген.

— Верно, — кивнула Нора. — Аурелиу, я буду сюда приезжать .

— Каждый день, — сказал он. — У нас еще много дней впереди,

— Конечно, — сказала она.

— Тебе будет трудно ездить с дачи, — подумав, сказал Аурелиу. — Автобус, метро, пересадки... Четыре часа туда и обратно.

— Три, — поправила Нора.

— Три с половиной, — сказал он,

— Зато там воздух, на даче. Я буду спать на веранде. А тут ужасная духота.

— Почему духота? Я ночью приоткрываю окно и дышу, — сказал он.

— Э-э, не шибко у нас надышишься, с этим Иван Ивановичем преподобным, — проворчал дядя Колян. — Живо скандал устроит, как вон вчера.

— Это который Иван Иванович? — спросила Нора.

— Да вы его знаете, с горлом-то. Молодой, а капризный. Чуть маленько сквозняк, сразу в бутылку лезет.

— Бедный юноша, — сказал Аурелиу.

— Вы бы лучше себя пожалели, — сердито заметил дядя Колян. — А то, я смотрю, вы какой-то немного чудак, ей-Богу!

— Ну что вы, — сказал Аурелиу.

— Честно.

Норе стало смешно.

— По-вашему, он немного чудак?

— Болельщик, — буркнул дядя Колян. — И кому это надо? Совсем лишнее. Только нервы трепать.

— А сами-то, сами! — сказала Нора. — И вы ведь тоже чудак, не хуже его. Два сапога — пара.

Дядя Колян даже кивнул с досады.

— Ни к чему вы меня приплели. Я сурьезно, а вы пустое болтаете...

— Ничего не пустое, — сказала Нора.

Дядя Колян был небрит, над круглыми желтыми глазками воинственно, как у филина, топорщились кустики седых кудлатых бровей, а загнутый острым крючком нос лишь дополнял его сходство с угрюмой ночной птицей. Однако же Нора редко встречала людей, чья внешность так не вязалась бы с их характером. Он вставал среди ночи, поил больных из поильничка, укрывал всех подряд одеялами, днем бегал за передачами, приволакивал, когда надо, каталку, подсовывал судна и не гнушался их выносить. Но при этом он постоянно ворчал, брюзжал и пыхтел, словно всякую благодарность хотел пресечь у людей еще в самом зародыше.

— О-ох, чтой-то в сон кидает, — нарочито зевнув, сказал он. — Пойду-ка провеюсь. — И пошел из палаты, чуть-чуть лениво и вперевалочку, будто он просто так, со скуки, уходит, а вовсе не потому, что желает их оставить наедине.

— Симпатияга, — сказала Нора.

— О, это такой очаровательный человек... И знаешь, где он работал? Смотрителем в зоопарке, в террариуме, а как он рассказывает про змей... О чем это я? — перебил себя Аурелиу. — Какие-то змеи... Нора, Нора, душа моя, — он протянул к ней руки.

Она упала к нему на грудь и думала, что расплачется, но слез не было. Гулко стучало ей прямо в висок его сердце. Аурелиу перебирал ее волосы и молчал.

— Я бы хотела тебя унести, — глухо сказала она. — Взять, взвалить на плечо и нести. Далеко-далеко...

— Отличную ты отводишь мне роль, — сказал он. — Как раз для мужчины.

— Я бы выходила тебя. Честное слово! А потом, если уж так тебе нужно, носи меня.

— Ты умеешь любить, — сказал Аурелиу,

— Да.

— Я тоже умею.

— Я знаю, милый.

— Мы с тобой одно существо.

— Да.

— Ну, а теперь иди, — он потрепал ей затылок. — Тебе же надо собираться.

— Еще две минутки, — сказала она.

Слез не было.

— Как ты поедешь? — спросил он. — Одна, в такую жару, в толкотне... Ты ведь отвыкла от той жизни. Будь осторожна.

— Да, я отвыкла. Мне даже кажется иногда, что там и жизни-то нет никакой. Вся здесь.

— Вздор! — вскричал Аурелиу. — Вздор! Не вбивай себе в голову.

— Постараюсь, — вздохнула Нора. — Но вообще-то я себя буду чувствовать, как разведчик в стане врага. Все чужие кругом, говорят на чужом языке...

— Только первое время, только вначале, — сказал он. — Потом ты привыкнешь, войдешь в колею.

— Но я другая, пойми, — сказала она. — Я больше не прежняя, я другая. Я здесь много чего передумала. Я, если хочешь знать, перелопатила к черту всю свою жизнь!

— У тебя дети, — сказал Аурелиу. — Ты это помнишь?

— Помню. А вот все остальное...

— И долг.

— Нет у меня никакого долга! Хватит, довольно, сыта по горло! Почему с тех пор, как я себя помню, я все время что-то кому-то должна?

— Не кому-то, родная. Себе.

— Что я должна, что? Я задолжала себе только счастье!

— И все-таки ты должна донести рюкзак, — мягко сказал он.

—Что?

— Помнишь, ты говорила про маму? — он улыбнулся. — "Каждый должен сам нести свой рюкзак". Замечательно сказано!.. Он у тебя тяжелый, я понимаю. И ты невольно с собой хитришь иногда. Тебе хочется незаметно его подменить. Налегке-то ходить все равно не умеешь... И вот ты готова взвалить на плечи меня. Я тоже, конечно, не перышко... Но тот рюкзак, я имею в виду настоящий, куда тяжелее! В нем все твоё прошлое, детка. Твоя душа, твои мысли... Люди, которых ты видела. Их истории, их страдания. Ты должна это все донести.

Печально и нежно он обнимал ее своим удивительным взглядом. Это было прощанье.

— Милый, любимый, голубчик мой, — наконец заплакала Нора. — Я и два... я и два рюкзака могу...

Аурелиу сжал ее пальцы.

— Иди. Уходи.

— До завтра, — плача, сказала она.

— До завтра. Иди.

Аурелиу улыбался.

СИНЕЕ НЕБО И БАБОЧКИ

Нора знала одного человека, имевшего странный заскок: он почему-то боялся дверных порогов. Дойдя до двери, он долго переминался с ноги на ногу, прежде чем сделать решительный шаг.

Вот так и она: добрела до ворот больницы, оглянулась, из окна их палаты кто-то махал (наверное, Роза), она тоже махнула, потом поискала окно Аурелиу, не нашла (слезы стояли в глазах) и опять с тоской посмотрела на улицу. "Не хочу я туда", — отчетливо подумалось ей. Шли люди, звенел трамвай, промчалась машина...

По аллее (сколько по ней было хожено!) гуляли больные в синих халатах с цветами (милые наши халаты), Берта крик-

нула ей со скамьи: "Уходишь? Счастливо!" Счастливо... Что делать? Надо идти.

Миновав проходную, она поплелась вдоль ограды. Куда она шла, зачем? Ее жизнь осталась здесь. Давно ль эти люди в пестрых халатах казались ей прокаженными? Теперь никого в целом свете роднее не было.

Вдруг, будто вспомнив о чем-то, она повернула назад. Украдкой, словно преступница, Нора шмыгнула в ворота. Потом чесанула к подъезду, стараясь держаться (чтоб не увидели сверху) ближе к стене корпуса. На бегу скользнула взглядом по моргу (уютный, в общем-то, домик, обвить бы его еще граммофончиками!). Перехватывая руками перила, взлетела по лестнице. На этаже, стыдясь знакомых больных, прошла с опущенной головой к десятой палате.

Аурелиу стоял на коленях и смотрел с кровати в окно. По-видимому, он не заметил, как Нора вернулась: взгляд его был обращен к проходной. Он стоял в смиренной позе блудного сына с картины Рембрандта, и первое, что она увидела, были две его бедные, жалкие пятки.

— Аурелиу! — тихо сказала она.

Он обернулся. Незнаваемо перекошено, смято было его лицо. Она подошла, села рядом. Он не обнял ее, ничего не сказал. Они не дотронулись друг до друга и пальцем. Посидели в молчании минут пять, потом она встала.

— Что тебе привезти? — спросила она, будто за этим и возвращалась.

— Что хочешь.

— Ягод, — сказала она.

— Все равно.

— Или творог.

— Прекрасно.

— Я придумаю что-нибудь.

— Спасибо.

— Я пошла, Аурелиу.

— Да, — кивнул он.

— Не смотри в окно, ладно? А то это просто невыносимо.

— Не буду.

— Ты сейчас что собираешься делать?

— Не знаю, — ответил он.

— Ложись.

Он послушался, лег, натянул на себя простыню.

— Аурелиу, — сказала она.

— Что?

— Ничего. Я пошла.

Он не ответил. Не улыбнулся. Даже не посмотрел на нее. Куда он смотрел?

...А в метро ее поразило кишение толп, точно какой-то безумец разворошил, раскидал муравьиную кучу. Нора едва-едва втиснулась в поезд. Ноги ее не держали, голова кружилась, и все-таки неудобно было кого-нибудь попросить, чтобы ей уступили место. Выйдя из поезда в центре, Нора немножечко посидела, потом побрела переходом до эскалатора, а спустившись, опять посидела, впрок набираясь сил. Она пропустила несколько поездов, затем ринулась вместе со всеми в вагон. Свободных мест не было. Качаясь, закрыв глаза, она схватилась за поручень, но тут какая-то женщина чуть подвинулась и сказала:

— Садитесь, гражданка, я вижу, вам плохо.

На "Соколе" Нора вышла и, словно в беспамятстве, побрела, увлекаемая толпой, по туннелю, но лишь, когда одолела лестницу, поняла, что стоит на другой стороне проспекта. Пришлось проделать обратный путь, снова спускаться и подниматься.

К загородному автобусу тянулась очередь длиной метров в сто. Пекло солнце. Сесть было не на что. Легкая сумка оттягивала ей руку. Влажное платье прилипло к потной спине. В глазах летали не то что мушки, а какие-то длинные черные загогулины. Нора не влезла ни в первый автобус, ни во второй. Но даже и в третий не стала рваться, чтоб не стоять битый час на ногах. Зато уж в четвертом Норе досталось местечко рядом с открытым окном и в тени, и встречный ветер ополаскивал лоб, сердце больше не колотилось.

Автобус несли мимо полей, прудов и лесов, на остановках пахло, вперемешку с бензином, нагретой листвой и травой,

мелькали ромашки, лиловые короставники на обочинах, иногда полыхали целые озерки огненных мелких гвоздик. Но вот и Петрово-Дальнее, поворот к Степановскому, подступающий к самой дороге лес, прохлада, запах хвои и глубокая черно-зеленая темень. "Как хорошо", — с удивлением подумала Нора.

В Степановском она уже бодро сбегала крутой тропинкой к ручью. Обрызгала шею, лицо, отдохнула на камушке перед резво бегущей в зарослях коричневатой водой, потом начала взбираться по склону оврага к даче.

Первым ее заметил Антон.

— Мама! — отчаянно звонким голосом крикнул он.

И вот к ней навстречу бегут, размахивая руками, все трое — и он, и Тата, и тетя Домна.

— Мама!

— Родные мои!

Ее подхватили, отняли сумку, почти донесли до дому. На чистой терраске блестели только что вымытые полы, в пышном букете из дягилей и блеклых, уже белеющих васильков жужжала пчела, на фанерке лежало раскатанное для вареников тесто.

Нора села на стул и сбросила с ног туфли. Блаженно было касаться босыми ступнями прохладного влажного пола. Радостно было смотреть на детей. Антон был взволнован, и, как всегда, его возбуждение сочеталось с неловкостью и замешательством. Он покраснелся, глаза у него сияли, а слов он найти не мог и, сидя на низкой скамеечке, неотрывно смотрел на мать.

— А... а... а... у нас сегодня вареники с вишнями! А еще у меня рука похудела, гляди! — вытянул он худую и бледную руку, — потому что была под гипсом, а доктор... ну, мам, ты не слушаешь! а доктор сказал, что она... Тата, как? Что она потом придет в норму... Мам! А Тата мне про Бульку читала... А как это "в норму", ну, мам?! Почему ты не слушаешь?

Нора, и правда, не очень вслушивалась, потому что все успела заметить сама: и похудевшую руку, и то, что будут вареники, и даже раскрытую на рассказе про Бульку книгу

Толстого. То, о чем говорил Антон, ей было важно знать, но еще важнее было смотреть на него, упиваясь его голосом, его загорелой, здоровой рожой, каждой веснушечкой на его коротком носу и щеках.

— Ты весь зарос, сынок, надо постричься, — сказала она.

— Вот ты всегда так... Тебе про одно, а... а ты про другое!

— сказал он обиженно, однако, даже обида его так светилась счастьем.

— Поди сюда, Тошка, — позвала она.

Он встал, подошел, но не прямо, а как-то боком, смущаясь. Она притянула его к себе, обхватила его костистое, мальчишечье тело, поцеловала горячее под майкой плечо.

— Как от тебя вкусно пахнет!

— И... и от тебя, — шепнул он.

Тетя Домна и Тата в четыре руки лепили вареники.

— Сейчас пообедаем, и я тебя, мамочка, уложу, — тоном старшей сказала Тата.

— Я уже отдохнула, — сказала Нора.

— Глупости! Вынесем раскладушку, поставим ее вон там, под березками, в холодке, и если не хочешь спать, почитай или так полежи, погляди в небо. Тебе это просто необходимо.

— Ты думаешь? — покорно спросила Нора.

— Да. Я уверена.

— Усэ знает, — заметила тетя Домна. — Як той прохвессор!

Несмотря на то, что у Норы от облучения давно пропал аппетит, и вид, и запах любой еды теперь неизменно вызывал у нее тошноту, она — что значит дома! — съела добрый десяток вареников.

А после обеда Тата и впрямь вынесла в сад раскладушку, и Нора легла на расстеленном одеяльце, прикрытая старым, купленным еще на первые гонорары, атласным халатом до щиколоток. Этот халат Илья ненавидел: "Ты выглядишь в нем настоящей "совбуркой"!" Но ей сейчас было на редкость приятно касание гладкой, тяжело скользящей материи к разгоряченному телу.

Сквозь листья берез проглядывало высокое небо, чредою плыли по нему облака, и было так тихо, покойно вокруг,

что до нее доносилось журчанье ручья в овраге. Порхали желтые бабочки, танцую в воздухе свои прихотливые танцы. Порывами налетал ветерок и раскачивал снежно-белые хозяйские флоксы. Белизна их соцветий на солнце казалась почти неправдоподобной, они сверкали холодным алмазным огнем.

Нора порой теряла чувство реальности — на каком она свете?

Аурелиу у окна, в этой его последней смиренной позе; Томка на корточках в темной пустой умывальной; Иоганна Карловна, бок о бок с которой прожита целая вечность, и вот уж она мертва; Роза, которой не выкарабкаться; обожженная Берта; превратившаяся в скелет, иссохшая баба Надя; Этери с колышущимся, как грелка, лицом; смешная ночная птица — дядя Колян; промелькнувшая яркой кометой красавица Катя; и та, из Ташкента, чье имя так и осталось ей неизвестным, у которой горбатая дочка Ира, и все другие — кого она приняла, впитала в себя, — как их связать с благодатью этого сада, с белыми флоксами, с синим небом и бабочками? С этим покоем, жужжанием пчел, с тишиной и невинностью ясного летнего вечера?

Где она, Нора, — здесь или там, среди них? Дано ли ей право нежиться после всего того, что она узнала? Не отнято ли у нее это право? Однако же, для чего-то создал Бог красоту! Зачем, для кого? Неужто для равнодушных, для толстокожих? Но они ее не достойны, они принимают бесценный дар, эту милость и утешение, как нечто, принадлежащее им от веку. Тогда почему же тем, кто ее достоин, так часто бывает не до красот? Они и не помнят даже, что это есть на земле. Как забыла и Нора, пока была там, с прокаженными.

Странно устроен мир! Кошунственно услаждать себя красотой, этими флоксами и облаками. И столь же кошунственно им не радоваться. Ах, если б она могла привезти сюда Аурелиу, разделить свою радость с ним... Нет, всех до единого уложить бы здесь под деревьями, чтоб каждый, хоть перед смертью, почувствовал и увидел то, что она. И услышал бы ручеек под горой...

Заболев, она возроптала: "Мало того, что я... и вот теперь еще это!" Но оказалось, что Нора куда счастливее многих других. Разве ей припекали плечо раскаленной печью, как той, из Ташкента? Разве есть у Норы больная горбатая дочь? Или разве ее приговаривали к расстрелу, как Аурелиу? Разве близкий ей человек тонул у нее на глазах в нечистотах?.. Да, правда, и у нее, как у Пани, невинно погиб отец, но мама-то все же осталась с нею, и не выкручивали ей рук, не толкали прикладами в спину... Или, быть может, она поменялась бы участью с выросшей в детском доме "счастливицей" Розой?

Норе, тьфу-тьфу, повезло и с детьми, и рак ей выпал на долю что ни на есть самый легкий: по сравнению с позвоночником или печенью, грудь-то ведь — чистый подарок! Так что нечего Бога гневить.

А перед глазами стоит — не шелохнется молодая рябина с тяжелыми грубовато-красными гроздьями и узорными листиками, и поминутно хриплым, словно простуженным голосом орет петушок за забором, и вот прилетела, заворошилась на ветке, захлопала крыльями птица и вертит маленькой, с металлическим черным отливом головкой, и поет что-то вроде: "си-тю, си-тю-тю, пить чай, пить чай", и Антон где-то там спросил: "А мама еще не проснулась?", и Тэта ответила: "Тс-с, не шуми", и все это счастье. Чудесно так лежать и дышать.

Но все же, все же, — где она, Нора, — там или здесь?

ДВУЕДИНАЯ ЖИЗНЬ

И началась ее новая, непонятная, двуединая жизнь...

Утром вскакивает, что-нибудь наспех ест, собирает гостинец для Аурелиу, не забывая и про подруг по палате: то прихватит для них морковки — стеклянно-прозрачную каротель, то — поспевший уже крыжовник из хозяйского сада, то потихоньку от скаредной тети Домны плюхнет в банку смородинового киселя.

К автобусу ее иногда провожают дети. С утра она полна сил, заряжена воздухом, пением птиц, успокоительным цветом зелени, ноги ее, до самых колен, мокрые от росы: Нора, словно нарочно, сходит с тропинки, путаясь в буйно разросшейся, отливающей сизым траве.

И, пока автобус едет первые пять километров лесной тенистой дорогой, ей кажется — сил этих хватит надолго, уж сегодня она себя, точно, чувствует собранной, энергичной, готовой действовать безотказно, вроде туго-натуго заведенных дедушкиных швейцарских часов.

Но, когда набитый людьми, гудящий, как улей, автобус подходит к "Соколу", Нора давно измочалена тряской, резкими торможениями, жарой, взвинчена хамскими ссорами пассажиров. До больницы она добирается, едва волоча свинцовые ноги, почти в полубомороке. У ограды она останавливается, закрывает глаза и, вслушиваясь в знакомые голоса за кустами, медленно приходит в себя. Затем, украдкой вытащив зеркальце и припудрившись, она расправляет плечи, подтягивается и быстрым решительным шагом идет к воротам.

Аллея, асфальтовый двор, корпус, морг — она обзревает весь этот комплекс, как бывший студент свою alma mater, как бродячий монашек свою покинутую обитель, как старый солдат — то место, где он получил боевое крещение. Косноязычные лекторы, плохие отметки, искусы и послушания, перебежки под шквальным огнем — все забыто.

Нора напряжена, все чувства ее обострены, нервы — как оголенные провода. Она занимает очередь на рентген, затем поднимается к Аурелиу. Он уже ее ждет и встречает улыбкой.

— Устала? — это всегда его первый вопрос.

— Нет. А как ты?

— Хорошо... Ребята здоровы? — второй.

— Слава Богу.

— Илья Николаевич еще не приехал? — третий,

— Нет, — отвечает она. — Да ты не волнуйся. Для нас с тобой ничего не изменится.

Она говорит тихо, чтобы их не услышали.

Аурелиу перебирает край одеяла, пальцы его дрожат.

— Я не за нас, — шепчет он, — я за тебя беспокоюсь.

— Что он мне сделает? — пожимает она плечами. — Ничего он больше не может сделать. У меня есть защита.

— Где я, а где ты, — отвечает он.

— Какой же ты глупый! Где я, там и ты. Неужели забыл?

— Я помню... Но он-то не знает этого. И будет тебя обижать. А тебе это вредно. Даже опасно. Очень.

— Мне теперь ничего не опасно, — отвечает Нора.

Она хмурит брови, делая вид, что сердится, на самом же деле прячет свой страх за него. Вот, кому все опасно: Аурелиу тает, как мартовская сосулька, — он бледен, щеки его ввалились, он весь сквозится, просвечивает, одни глаза, еще потемневшие, углубившиеся, живут на его лице.

— Поешь, — говорит она. — Давай я тебя покормлю, можно?

Ей хочется гладить его, целовать ему руки, кормить с ложки. Он понимает это.

— Ты не пропустишь очередь?

— И черт с ней, займу снова.

Она разворачивает пакеты, снимает с банок притертые крышки, что-то роняет на пол, поднимает, снова роняет.

— Хочешь творожники? погоди, я посыплю сахаром... И компот. Где стакан? Ой! Вот безрукая дура! Сейчас...

Кромешный, бархатно-мягкий взгляд обволакивает ее, и Нора сама не знает, блаженство или тоска стесняет ей сердце. Она подносит ему на вилке кусок творожника, подает стакан — запивать и, как часто делают матери, когда кормят детишек, вместе с ним открывает рот.

Дав ей натешиться, он говорит:

— Можно, теперь я сам? — и смеется.

Она тоже смеется, с ними смеется и вся палата. Расстроганно. Горько.

По пути в рентгеновский кабинет Нора заходит сделать укол (болезненный, потому что мужской гормон растворяют в масле, а оно очень скверно рассасывается, — мерзкий укол, от которого она начинает заметно толстеть, не говоря уж про то, что над верхней губой пробиваются усики, ежедневно

придирчиво ею выщипываемые), заглядывает и в палату, где по-прежнему мается со своим мочевым пузырем Паня, хнычет добрая, мягкотелая Берта, изводится неизвестностью Роза, с упорством фанатика смотрит в окно Этери и торжественно и светло кончается баба Надя. Нет на месте лишь Томки — ей сделали операцию, которая длилась восемь часов, но, кажется, хорошо удалась, и, хотя Томка двое суток была без сознания, лежала в реанимации, подключенная к разным приборам, да и теперь не может пошевелиться, "белое духовенство" считает, что ей еще здорово повезло.

Нора распределяет свои приношения, слушает истории, ахает, охает, узнает, что приехала Идочка ("девочка — это что-то особенного!" — одобрительно отзывается о ней Берта, и баба Надя сияет), потом неохотно прощается, а впрочем — ведь только до завтра, и подбегает к двери в рентгеновский кабинет как раз в ту секунду, когда Рахиль Герцевна выглядывает в коридор.

— Ну, наконец-то, ма шер! Еще немножко; и я бы ушла.

"Безобразная герцогиня" ворчит, а сама достает из папки ее последний анализ крови и долго вертит бумажку в руках.

— Хулиганство, ма шер, настоящее хулиганство! Две с половиной тысячи лейкоцитов вместо восьми! Вы что себе думаете?

— Я? Ничего.

— Переливание, завтра же. Печенку, небось, не едите, брезгуете?

— Ем.

— Не верю. Трагизм разводите! А надо лечиться. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться, как завещал незабвенный Владимир Ильич. А вы разве следуете заветам вождя? Нет! Это, ма шер, наводит на грустные размышления...

Вот так болтая, она раздвигает свинцовую дверь, ведет ее в аппаратную, обкладывает пластинами голову.

— Приступаем к гипофизу. Если у вас на висках начнут выпадать волосы, не пугайтесь, — тараторит она. — У меня есть одна дама, которая делает парики. Раскошелитесь на сотню рублей и забудете про это наказание Божие — наши отечест-

венные цирюльни. И ведь сколько сэкономите времени! Так что — без паники. Рекомендую, ма шер, запастись хорошеньким паричком...

Нора выходит из кабинета и опять поднимается к Аурелиу. Только к вечеру приезжает она в Стелановское. Но когда, изнуренная долгой дорогой, пересадками и духотой, оглоушенная больничными впечатлениями, она поднимается от ручья на пригорок, — с нее как будто спадают вериги и в душу прокрадывается дремотная тишина.

"ПО СИЛАМ ДЕЛАЙ"

Одна фраза, которую Катя сказала в тот памятный вечер "у телевизора", не давала Норе покоя. Предупредив домашних, она однажды осталась на ночь в Москве, позвонила после больницы по автомату, услышала в трубке знакомый, чуть глуховатый голос: "Привет, как я рада, давай скорее!" — и, схватив такси, поехала на Серпуховку.

Нора была готова ко всяким экстравагантностям (восточные оттоманки, африканские маски на стенах, русские лапти, прялки, иконы, но тут же и бар с бутылками шерри-бренди, на ковре живописно разбросаны "диски" в ярких конвертах, на полках — множество книг, среди них — конечно же, Кафка или что-нибудь в этом роде), но вместо всего этого — в комнате Кати стояла горбатая, как верблюд, простая кушетка, дачный складной столик, складные стулья, ободранный, с темным пятнистым зеркалом шкаф.

Причесана Катя была, как Нора любила, — с торчащей малярной кисточкой на затылке, одета в мятые шаровары, на блузке под мышкой зияла дыра.

— Ничего, что я так? — спросила она рассеянно. — Целый день валялась в прострации... Надо чего-то пожрать.

Попили кефиру, съели по калорийной булочке, легли рядышком на кушетку (которая сразу вспучилась, звякнула, пыхнула облаком пыли), одна за другой чихнули и засмеялись.

— Как живешь, Катя, — спросила Нора.

— Подыхаю.

Очень просто сказала, без малейшей рисовки.

Нора даже не стала спорить.

— Работаешь?

— Нет. Зачем?

— Так и валяешься?

— Думаю...

— О чем? Неужто... Ты в прошлый раз обронила...

— Про Красную площадь? — Катя странным образом догадалась.

Нора кивнула.

— Об этом и думаю... Жуть! И знаешь, чего особенно трушу? Схватят, а я без грудей.

— И что? — передернулась Нора.

— А то, что я уязвима. В общем, не знаю. Боюсь.

Они лежали ничком, в полутемной нише, на пыльной кушетке. В окно пробивалось вечернее солнце, освещало стенку напротив, на старинных обоях сверкал золотистый накат, какие-то медальоны. Глупо смотрелась на фоне этих обоев дачная, с бору да с сосенки, мебель.

— Брось это дело... Не надо, — сказала Нора. — Хватит.

И Катя опять не спросила, что "хватит". Поняла с полуслова.

— Да, да. Экссессы опасны. Чреваты. Чем — мы знаем с прошлого века. Все эти Фигнер, Перовские... Верно. Но что же — пускай жиреют? Где выход?.. Э-э, хрен с ним! — сказала она. — Плевать.

Они помолчали.

— Катя, — спросила Нора. — Ты все еще любишь его?

— Кого? — усмехнулась она. — Твоего юродивого?

— Катя, он гибнет... Катя! Такие слова...

— Неуместны? — зубы ее в полутьме вдруг стали похожи на щучьи. — Но и я ведь не то, чтоб цвела! Мне простительно. И потом я его... вот именно, это самое... Как ты изволила выразиться.

— Я же не виновата, — тихо сказала Нора.

— А я тебя не виню. Я никого не виню. Кроме этой паскуды — жизни... Ах, если б он был у меня!.. Тогда бы...

— ...Тогда бы ты вышла на площадь? Ради него?

— Да... С наслаждением. Хотя это подло, я понимаю. Мужчины — гады, это уж точно. Но бабы... Бабы просто-напросто сучки.

Катя села, скрестив ноги, в самом углу.

— Взять меня, например. Болтала, болтала... Не-ет! Пора подышать. Вот что я думаю. Пора в могилку. Бай-бай.

— Катя! — Нора села с ней рядом и тоже скрестила ноги. Два маленьких Будды. — Не нравится мне, как ты говоришь. Цинично, по-моему, а? Катя, я к тебе очень... Ты мне родная стала... Катюша!.. — и она положила руку к ней на плечо.

Катя не сразу, но отодвинулась. Рука соскользнула. Напротив червонным золотом отливала стена.

— Юбку и черный свитер найдешь в нижнем ящике, — указала Катя глазами на шкаф. — И точка на этом... Скажи-ка, что ты читаешь?

Нора опешила. Вопрос был чисто интеллигентский, такой же естественный, как для домашних хозяек: "Что вы сегодня варите?" Но после всего сказанного...

— А я тут взялась за Бальзака, — не дождавшись ответа, заговорила Катя. — Ну и кошмар, слушай! Просто не понимаю, как мне могло это нравиться? Да и этот хваленый Стендаль. Сплошное слюнтяйство — "Пармская обитель". Ты не находишь?

Норы любила разговоры о книгах. Вдруг пререзается мысль, совсем неожиданная, которой во время чтения не было и в помине. Но в скрещении двух лучей, двух рапир, в поединке, образуется сполох, рождается звон, от сполохов — яркие контрастные тени, от звона — эхо... Опять же как у кухарок: "А перчик кладете?" — и разгорается спор, безудержно прет вдохновение.

Посыпались имена: от Бальзака — к Стендалю, внезапно выскочил Диккенс ("Диккенса надо читать в метель, укутавшись пледом"), от Диккенса перекинулись к Достоевскому, от Достоевского — к Томасу Манну. "В "Волшебной горе"...

— начала было Нора. "Фу! — прервала с презрением Катя. — Немецкая тягомотина, скукотища!" И пошло, и пошло.

Напротив догорала стена. Они в своем уголке едва различали друг друга. Гудели и тенькали пружины кушетки.

— Ваш, что ли, чайник стоит на плите? — постучались к ним в дверь.

— О, ч-черт! Еще один распаялся! — вскричала Катя и побежала на кухню.

— Вот что, — вернувшись, сказала она. — Ты никуда не поедешь. Чаю напьемся и ляжем.

— Жив чайник?

— Жив.

Включили настольную лампу (комната оказалась при свете еще ужасней), пили чай, хрустели сухариками, долго орал. Опять и опять возвращались к вопросу, который у них назывался условно "Красная площадь". Залезали в дебри политики и социологии. Спорили.

— Пусть же они, наконец, узнают, что мы существуем, — крикнула Катя, — что этого духа обратно в бутылку не запихнешь!

— Но то, что ты предлагаешь, — бессмысленно! Это чистейшей воды анархизм! — кричала Нора. — Нужна платформа! Есть у тебя платформа?

— Что ты пристала? Мне только ясно одно: дальше так жить невозможно! Я задыхаюсь! — кричала Катя. Внезапно она вскочила и, порывшись в скрипучем шкафу, достала Библию.

— Погадаем? Чур, только честно. Что выйдет, то выйдет.

Норе попало: "...Человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх".

— Глупости, глупости! — замахала руками Катя. — Это мое А тебе — сейчас, подожди.

Сосредоточилась, помолчала, резко раскрыла Библию, ткнула пальцем.

— "Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы?" Нет, — вздохнула она. — Это тоже мое.

— А говорила: чур, честно!

— Терпение. Четвертая снизу: "Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь,

нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости..." Что за холера, никак не выходит, и это — мое!

Катя захлопнула Библию.

— Что это было? — спросила Нора.

— Екклесиаст. Надо знать.

Когда улеглись (подушка была одна, так что они почти касались друг друга носами), Катя сказала:

— Великая книга. "По силам делай"... А ты-то работаешь?

— Нет. Что-то с моей головой...

— Того-этого?

— Да... Может, от облучения? Начну фразу, дойду до середины — и как, все равно, пластинку заело. Ни с места!

— Забавно, — сказала Катя.

— Куда уж забавней.

— А ты, — подумав, сказала она, — на большее пока не замахивайся. Пиши рассказы в три строчки. Прилетела птица, стукнула клювом о подоконник. Взъерошила перья. Все. Это в порядке бреда.

— Катя, — сказала Нора. — Я уже без тебя не могу.

— Дура сентиментальная, — буркнула Катя.

Но голос вроде был ничего. Оттаявший.

ОПОЛЗЕНЬ

Приехал веселый Илья — весь бронзовый, обдутый степными ветрами и со своим монголоидным типом лица, как никогда похожий на Чингиз-Хана. Кинулся к Норе, затормошил ее, закружил: "Дома наша мамуля, дома!" Для проформы задал вопрос о здоровье, ответа не выслушал, сказал мимоходом: "А ты потолстела" и сразу, с места в карьер, начал рассказывать о совхозе.

Какие там, дескать, дивные люди (говорю тебе — золото высшей пробы!), особенно очаровала его одна девушка — дочка профессора из Ростова, бросила институт, оставила папу и маму, начхала на ванную и ковры и поехала, по ее выражению, "поближе к земле, к истокам" (не думай, это не по

Толстому: мол, пусть меня покусает святая вошь, а что-то новое, романтическое, праведно-комсомольское), и вот девчонка работает в клубе, основала библиотеку, выпускает "боевые листки", днем, как полоумная, мотается по бригадам (на чем бы ты думала? на собственном мотоцикле — гонка с препятствиями, да на бешеной скорости, да еще по колдобинам, в туче пыли!), вместе со всеми молотит, скирдует (ни разу не видел, чтобы она прохлаждалась в тени!), а вечером, словно и не махала вилами, не ломала хребет, а только что, как Афродита, вышла из пены морской, до упаду танцует бальные танцы под радиолу (и мы, — добавил Илья, — даже исполняли с ней вальс-бостон, под бурные аплодисменты присутствующих!)

— Ты ведь знаешь этот мой самый любимый тип женщин, — рассказывал он. — Высокая, длинноногая, прямые спортивные плечи, короткая стрижка, мятые брючки и при этом — совершенно русалочьи глаза. Словом, вот что я, Нора, решил: мы напишем о ней книгу. Я за тем и приехал. Накатаю заявку, заключу договор с "Профиздатом" или с "Московским рабочим", и через два-три месяца мы привезем и положим на стол этим столичным зажавшимся дармоедам настоящий бестселлер. Назовем его "Девушка нашей мечты" или что-нибудь в этом духе... Я, не теряя ни минуты, вернусь в совхоз, сниму там тихую комнатку, набросаю одну-две главы, а ты давай закругляйся с лечением и...

Ничего как будто из ряда вон выходящего в монологе Ильи не было. И тон его был обычный — быть может, излишне приподнятый, но ведь это в его характере: увлекаться, строить воздушные замки, слушать только себя, оставаясь глухим к реакции собеседника.

Да, впрочем, какой-нибудь месяц назад и Нору ничуть не смутила бы мысль написать — ну, если не книгу, то очерк — о юной культуртрегерше из степного совхоза. Она бы даже сочла ее образ весьма колоритным и выигрышным: интеллигентная барышня, дочка ученого, современная Афродита, моторизованная наездница в шлеме и брючках — эффектно!

Сейчас она только диву давалась. Фигуряные на мотоцикле, боевые листки, бальные танцы в клубе — неужто же все это где-то есть? Выходит, что есть. И такая жизнь, безусловно, тоже требует осмысления. Но не писать же, как прежде писала, — сбирая с цельного молока жизни одни лишь сливки ее... Господи Боже ты мой! Чего-чего только она ни бралась (да с каким апломбом!) отображать на бумаге: северных рыбаков и тверских земледельцев, синоптические бюро и ткацкие фабрики, литье под давлением и завод железобетонных конструкций, плотины и школы — ничто ее не пугало, не останавливало, для всего находилась бойкая фраза...

А страна ее как лежала, так и лежит неописанная. Немая, дремучая, бездыханная.

Хоть бы часть того, что ей довелось увидеть, правдиво поведать людям, хоть бы сотую долю — и то не зря бы жила. Но даст ли Бог силы? А тут еще голова...

— Илюша, я не могу писать с тобой эту книжку, — тихо сказала она.

— Это еще почему? — так и вскинулся он.

— Не знаю. А только я не могу.

— Вот новости!

— Илюша, я... Поверь, что это серьезно.

— А по-моему, блажь.

Он рассердился, — однако, не так, как бы должен был, если б узнал, в чем дело. Его обозлило, что вот, не успел приехать, уже испортили настроение, чего-то там пререкаются с ним, капризы разводят, несут какую-то чушь.

— Мадам меняет профессию? — съязвил он. — Быть может, пойдет в управдомы?

Нора молчала.

— Ну что же это, ну честное слово! — сказала Тэта. — Оставь ты маму в покое! Она же больна, и твой сарказм... Неужели не чувствуешь? Какая-то дикость!

— Не лезь не в свое дело! — оборвал он ее.

Тата, однако, не унялась.

— Извини, — спокойно сказала она, — но мне кажется, несколько странно вести разговор о работе, а тем более — об отъезде, когда маме целых два месяца еще облучаться.

— Видали? Плевако нашелся! — наигранно хохотнул Илья.
— Да поймите вы, господин адвокат: хватит маме копать в своих ощущениях! Для нее гораздо важнее...

— Но речь идет о жизни и смерти, — опутив глаза, раздельно сказала Тата. — И ты уж, пожалуйста, хоть на этот раз позволь ей выбрать самой: лечиться или же плюнуть, уехать, писать — не писать, и если писать, то что.

Тон у девочки был не совсем как у той абстрактной блондинки, с которой привыкла сравнивать себя Нора, и все же она никогда не умела говорить столь уверенно и хладнокровно. Тон этот был ей чужд, и, возможно, напугал бы ее, если б она не почувствовала, что он — лишь прикрытие для бушевавшего в дочери гнева. Даже Илья на секунду умолк, ошарашенный этим отпором. Ему это было в диковинку. Но тем большая его охватила ярость.

— Провалитесь вы все! — взревел он и забегал по комнате.
— Вижу, понял: нет у меня семьи — ни жены, ни детей, никого! Завтра же еду, завтра! Обратно в свой милый совхоз!.. Если б вы знали, жалкие, жалкие вы уроды, как прекрасно, как празднично, как возвышенно я там жил! У вас здесь вонючая яма, сточные трубы, клоака! Ну и глотайте свое дерьмо!

Антон притих, как мышонок, у тети Домны, накрывавшей на стол, тряслись руки.

— Рюкзак... — прошептала Нора, следуя своим мыслям. — Тяжелый он, рюкзачок...

— Какой рюкзачок? О чем ты? Все вы тут попросту спятили! — возопил вконец уже сбитый с толку Илья.

Нора его пожалела.

— Илюша, — сказала она, — не сердись... Я тебе объясню... Пойдем прогуляемся?

— Да, да, пойдем, ты права.

— Що оце робиться, матынька рідна! Обидати сидайте, — взмолилась к ним тетя Домна.

— Э, тут вся жизнь по швам трещит, а вы со своим обедом, — отмахнулся Илья.

И вот они быстро-быстро, словно от кого-то спасаясь, идут в затылок друг другу по узкой тропке вдоль почти сплошь

заросшего жирной кугой ручья. О том, что он есть, не заглож, напоминает лишь тоненькое журчание в гущине благоденствующих, напивавшихся влагой трав да редкие бочажки, где он, разгулявшись на воле, играет всей толщей воды, от поверхности до самого дна... Идут молча, как будто бы тоже ищут свой бочажок, где им будем вольготно поговорить. Ручей их приводит в запущенный, одичалый, старинный парк, и там, на покатоj полянке, у озера, подернутого густой ряской, точно зеленым ковром, они, наконец, останавливаются и переводят дух. Оба пристально, словно впервые, глядят друг на друга.

— Ну, и что с тобой происходит? — спрашивает Илья.

— Со мной?.. — тянет Нора.

Не так-то ей просто сказать то, что она обдумала по дороге, хотя все уложилось в одну фразу: "Отныне я буду писать правду, только правду и ничего, кроме правды". Но произнести это вслух невозможно, и Нора молчит.

— Ну? — повторяет он.

— Понимаешь, — мнется она. — Когда человеку грозит смерть, ну, словом... Когда озираешь все свое прошлое... Как-то уже неохота жить начерно, охота по-настоящему, чтоб больше не врать, особенно в нашем деле...

— А раньше, выходит, врала?

— Раньше я лстила себя надеждой, что это, по крайней мере... ну, как бы сказать?.. на пользу стране. А теперь... Теперь я считаю — во вред, понимаешь?

— Любопытно, — шурился он. — Весьма любопытно. Понятие "государство" у тебя уже сливается со "страной". А что ты имеешь в виду, говоря о стране? Россию? Матушку-Русь?

— Не знаю, — с тоской отвечает она. — Наверно, людей.

— Ты права в одном, — говорит он уже серьезно. (Таким серьезным Нора почти никогда не видела мужа: настолько привык юродствовать человек, что юродствовал даже с ней и с самим собой.) — Государство у нас жесткое, очень жесткое, верно. И все-таки я не вижу никакого другого, которое бы могло, отказавшись от жесткости, сохранить этот строй. Разные дохлые демократии тут не помогут. Значит, что?

Пойти на попятный, отречься от нашего строя? От нашей мечты? Так?

— Но зачем, — говорит она, — зачем тогда этот строй? Для чего, для кого? Ведь люди страдают, Илюша...

— Что люди! Они всегда противятся новому. Их и в царство небесное пришлось бы тянуть за уши! Вспомни: картошку, и ту силком заставляли сажать, а они бунтовали. От холеры пытались лечить, а они врачей забивали дреколем... Я понимаю, ты против насилия. Куда как красиво и благородно. Но что же? Пускай пухнут с голоду? Исходят кровавым поносом? А? То-то. Или возьмем, например, коллективное землепользование. Оно прогрессивнее частного — это как будто не вызывает сомнений, правда? А народ — он дурак, не видит собственной выгоды. Как тут быть? Погодим, пока он очухается? Больно долго годить. А тогда, моя милая, принимай раскулачивание. И притом — со всеми последствиями. То же и с прочим. Да, у нас жесткое государство. Но в конечной своей перспективе (согласен, что дальней) — оно принесет людям счастье. Тем самым людям, о которых ты так печешься.

— Каким людям? — неслышно спрашивает она. — Тем, чьи косточки уже сгнили в бесчисленных лагерях? Или тем, что будут безвинно гибнуть и дальше?.. Нет, Илюша, я не хочу помогать государству делаться еще жестче. А наши с тобой книги...

— Послушай-ка, дуся моя, — вдруг спрашивает Илья с опасным прищуром, — это кто ж на тебя там влияет? Не Катя ли, о которой ты мне говорила? Или кто-то другой?

По-прежнему плавно покачиваются стволы сосен, загадочно-тускло глядит в небо покрытое ряской озеро, и теплая на пригорке трава нежно и сухо шуршит рядом с ними...

— И не стыдно тебе? — говорит Нора. — Так все испортить... Нет, Илья, невозможный ты человек. Немыслимый.

И опять они, будто впервые, смотрят друг другу в лицо.

— Что-то новое в тебе появилось, никак не пойму, — говорит он. — Даже во внешности. Неприятное что-то.

— Да, — кивает она. — Это уколы. Есть и термин специальный: маскулинизация облика.

— Вот как? — слегка теряется он. — Я-то думаю: что с ней такое?.. Прости, не знал.

— Ничего, — отвечает Нора.

Ей хочется спрятать в ладонях свое изуродованное лицо, но она не делает этого. Только чувствует, как что-то медленно страгивается в душе, оползает — целый пласт ее жизни. Их жизни. И это неотвратимо. А Илья, с его внезапными перепадами настроения, вдруг ни с того ни с сего размяк, в глазах у него закипают слезы, он говорит:

— Может, все же приедешь, а, малышастик?

— Возможно, — отвечает она.

Нора знает, что не приедет. С этим покончено. Но ей его жаль. И себя. Вернее — того пласта, того оползня, который вот-вот уже плюхнется в озеро, и утонет, и скроется с глаз под сомкнувшимся тусклым покровом ряски.

Но ведь был на нем дерн. И бегали муравьишки. Росли деревца...

ЧАСОВОЙ У ВОРОТ

Илья уехал, и Нора со смешанным чувством легкости и тоски, раскрепощения и потери подходила к воротам больницы.

Ей и хотелось скорее увидеться с Аурелиу, и что-то сегодня словно отталкивало ее от него. Илья, как ни странно, был ее тылом, тем рубежом, до которого, в крайнем случае, можно еще безбоязненно отступить. Но — порвалась между ними связь. Нора стала свободной, и это, противно здравому смыслу и логике, тотчас сковало ее, поставило в унижительную зависимость от Аурелиу, от силы его к ней любви. Отныне в этой любви для Норы сосредоточилось все, и вот она уже в ней сомневалась и мучилась.

В последние их свидания Аурелиу относился к Норе не то чтобы холодно, — нет, он был нежен, — а все-таки сдержаннее, чем прежде. Не ласкал, не целовал ее в губы, не прижимал к себе. И однажды даже назвал на "вы". Правда, он тут же поправился, засмеявшись. Но это "вы" ее резануло.

Одно утешало ее: память о том, как она застала его врасплох — на коленях, жадно смотревшим в окно. Спина, поворот головы, напряженная шея, смиренные пятки — вся поза кричала: люблю, люблю!.. Он мог совладать со своим лицом, он мог загнать внутрь слова — поза обманывать не умела.

Но что означало его поведение? Быть может, она-то не видит, а внешность ее, тем временем, так изменилась, что даже ему она стала физически неприятной? Возможная вещь. Ведь тягостно ей смотреть, к примеру, на толстую Лиду, заросшую неопрятной щетиной... Подобные подозрения ее осаждали в злые минуты, и Нора сама создавала себя злой.

Была у нее и другая мысль. Что, если он, в предчувствии близкой смерти, не желает более тратить на Нору душевные силы? И они у него без остатка уходят теперь на решение и разгадывание каких-то заветных предвечных тайн? Возможно и это. Но так она думала только в минуты отчаяния. Столь уже черного, что пред ним отступало, казалось ничтожным все личное. Тогда, чтоб скорей загасить эту мысль, которой не мог вместить ее разум, Нора шептала, как заклинание: "Пусть он сейчас же разлюбит меня, но пусть останется жить".

Однако случалось и так, что в ней поселялось добро, и тут все то, что было в ней лучшего, безошибочно прозревало истинную причину его непонятной сдержанности. Причина эта была — его рыцарство. Смешное, неистребимое. Аурелиу просто-напросто помогал от него отлепиться. Чтоб не была для нее безысходностью его смерть.

...Он стоял у ворот и ждал ее. И, хотя уже целых полмесяца он был прочно прикован к постели, Нору не удивило, что он стоит здесь сегодня и ждет. Аурелиу не мог не почувствовать, как он ей нужен. Взглянуть на него и проверить. Взглянуть — и понять.

Он улыбался. Вид у него был почти здоровый. Чисто выбрит, подтянут. И — в своей каторжной полосатой пижаме — даже щеголеват.

— Здравствуй, девочка. Как ты?

— Я хорошо. А ты?

— Как видишь, — он улыбался.

Нора разглядывала его, и в ее сознании попеременно мелькали то надежда на чудо, то чуть не животный страх. Что это с ним? Ремиссия?

Говорят, так бывает: вдруг, незадолго перед кончиной, больному становится лучше, и эту-то подлую шутку природы, этот ее пирует, врачи называют ремиссией. Но ведь случается и другое. Редко, конечно. Однако, даже в учебник, как утверждают, попала история некоего счастливчика, фермера из Аризоны, у которого бесследно исчезла, сама собой рассосалась огромная опухоль. И это событие (возможно, далеко не единственное) вошло в анналы медицинской науки под обнадеживающим названием: самоизлечение рака.

Почему же то, что было дано какому-то фермеру, заказано Аурелиу?.. Нора так и впилась в него глазами, а он, знай себе, улыбался.

Потом они тихо пошли от ворот к корпусу, Аурелиу деликатно спросил ее об Илье, и она рассказала ему про Тату, про спор о насилии и про оползень.

Миновав входную дверь в корпус, приемный покой, скамью, на которой Нора накануне своей операции объяснялась мужу в любви, они повернули за угол, куда она почему-то ни разу не заходила, и оказались на узкой меж пыльных кустов тропе. Тропа вела к маленькому строению, похожему на деревенский сарай.

— Глянь-ка, что я тут высмотрел, — сказал Аурелиу. — Зайдем?

Он потянул за кольцо глубоко запавшую дверь, и они вошли в темное, без окна, помещение, набитое разной рухлядью и пахнущее рогожей и керосином. Аурелиу прикрыл за собой дверь, но, чтобы дать доступ свету, просунул в щель ручку стоявшей тут же метлы. Солнечное сквозное полотнище с приплясывающими пылинками отвесно повисло в сарае, выхватывая из тьмы какие-то бочки, носилки, заржавленные канистры, бутылки, кипу рогож. Аурелиу опустился на них и, потянувшись к Норе, усадил ее к себе на колени.

— Тебе здесь не очень мерзко? — спросил он.

— Мне здесь чудесно, — шепнула она.

— Девочка, — сказал он, — я давно хотел тебя попросить...

Покажи мне свой шов.

— Нет! — воскликнула Нора.

— Прошу тебя.

— Нет!

— Покажи, — сказал он. — Пока я его не видел, между нами еще остается преграда. Крохотная. Но все-таки есть. Я хочу, чтоб ее не было.

— Миленький, не могу, — взмолилась она. — Мне самой, и то гадко!

— Я знаю. Но этого быть не должно. И не будет! — с силой сказал Аурелиу.

Нора молча стала расстегивать кофточку. Она расстегнула и лифчик, задрала его вверх, к шее, и закрыла глаза.

— Ты моя бедная. Ты моя милая. Ты моя прелесть, — услышала Нора.

Вдоль всего ее безобразного, убегающего под мышку и даже немного на спину шва низались его поцелуи. И, хоть больной своей кожей, с омертвелыми нервными окончаниями, обожженной рентгеном и заскорузлой, она всей их сладости ощутить не могла, душа у нее заходила и обмирала.

Счастливейший час своей жизни они провели в вонючем сарае, на задворках больницы, в нескольких метрах от морга, среди бочек с известью, бутылей с карболовой кислотой, клеенчатых рваных носилок и метел.

— Аурелиу, проводи меня до ворот. Не могу я сейчас на рентген. Не хочу, — сказала она.

— Да, — сказал он. — Конечно.

Они вышли на яркий солнечный свет и закрыли дверь, тотчас плотно ввалившуюся в проем. Мягко стукнуло по гнилой древесине кольцо. Нора смотрела на Аурелиу — он шел впереди с той чуть небрежной осанистостью, какая появляется у мужчин, когда они точно знают, что их женщина с ними счастлива. Не в полосатой пижаме, а в элегантном костюме его сейчас видела Нора, этаким европейцем, на какой-нибудь

там авеню Опера или Оксфорд-стрит. Ей стало смешно, она прыснула. Он сразу откликнулся легким смущенным смешком.

— Я слишком занесся, да? — спросил он. — Ты меня осуждаешь?

— Ужасно, — сказала Нора.

У ворот они обнялись, без единого слова, воровато и наспех. Нора ушла. Все ее счастье сгнуло, словно и не бывало. Тревога снедала ее. Снедала печаль. Что с ним сегодня такое? Неужто ремиссия? И он, понимая это и собрав все силы души, всю волю (наподобие того летчика, уже, в сущности, мертвого, но доведшего свой самолет до базы), сделал для Норы последнее, что еще мог, — вернул ей женскую гордость? А вдруг это просто чудо? Обыкновенное чудо? Бывают же, Господи, чудеса...

Она обернулась. Аурелиу стоял у ворот. Издали он уже ей не казался дэнди. Маленькая фигурка в полосатой больничной пижаме. Нора дошла до угла и опять оглянулась. Аурелиу, как часовой, стоял у ворот. Она помахала ему, он ответил, она зашла за угол.

Вдруг она встала, как вкопанная. "Что, если он уже умер, исчез, растворился в воздухе? Что, если все это ей примерещилось? Что, если нет да и не было его никогда?" Нора бегом вернулась к углу, робко выглянула — он стоял у ворот. Аурелиу махнул ей рукой, она знала — он улыбается. Она даже слышала его шепот: "Не бойся, девочка, уходи, так и так я останусь с тобой".

"Нет, Аурелиу, нет! Не смей умирать, ты слышишь?" — безмолвно крикнула Нора.

"Я — вечен!" — казалось, ответил он ей через улицу.

Он обращался к духовному в ней, однако, земное женское горе не отпускало, душило, раздавливало ее.

Нору толкали прохожие, анафемский красный трамвай заслонил от нее Аурелиу, но вот он промчался, гремя, — караульный стоял у ворот.

Внезапно он сделал какой-то жест, словно что-то тяжелое поднял с тротуара. "Рюкзак", — догадалась она.

"Иди!" — приказал Аурелиу.

И Нора ушла.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

КОВЧЕГ

Выходит в Париже. Журнал не провозглашает какой-либо эстетической или идеологической программы, его программа — в самом названии. Произведения современных независимых авторов, живущих в Советском Союзе. Произведения авторов всех эмиграций. Переводы и публицистика.

Журнал редактируют А. Крон и Н. Боков. Цена номера в розничной продаже 12 фр. фр.

Адреса для корреспонденции:

N. B o k o v. C,ateau du Moulin de Senlis, 91230
Montgeron, France.

A. K r o n. 34, rue Popincourt, 75011 Paris, France

В издании Французского Национального Института славяноведения (Париж) вышла книга:

Ефим ЭТКИНД

МАТЕРИЯ СТИХА

Оглавление

Глава I. Предмет поэзии.

Глава II. Поэзия как система конфликтов.

Глава III. Слово и текст.

Глава IV. Звук и смысл.

Глава V. От словесной имитации к симфонизму (принципы музыкальной композиции в поэзии).

В монографии Е. Эткинда читатель найдет разборы стихотворений и поэм следующих авторов:

Херасков, Ломоносов, Державин, Жуковский, Баратынский, Батюшков, Крылов, Дельвиг, Рылеев, Бестужев (Марлинский), Пушкин, Вяземский, Языков, Давыдов, Полежаев, Лермонтов, Тютчев, Фет, Некрасов, Минаев, Бальмонт, Блок, Брюсов, Андрей Белый, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Хлебников, Маяковский, Цветаева, Пастернак, Асеев, Заболоцкий, Тихонов, Бродский.

502 стр., цена 70 франц. франков (\$ 14)

Заказы и чеки направлять по адресу:

Institut national d'etudes slaves.

9 bis, rue Michelet, Paris Y1 erne, France

Аркадий ЛЬВОВ

ЗОЛОТАЯ КРОВАТЬ

Числа внушают мне странное чувство. Это не страх, не трепет, не почтение, хотя, когда я думаю о нем, об этом чувстве, я всегда произношу именно эти слова: страх, трепет, почтение. Но эти слова не удовлетворяют меня, и я вспоминаю еще одно слово — тайна. И тайну я имею в виду не всякую, а именно ту тайну, которая представляется детям, когда речь заходит о старинных кладах, над которыми тяготеет проклятие, о волшебной лампе Алладина и магических превращениях графа Калиостро. Эти тайны страшнее других, страшнее даже тех, которые сопряжены с убийством или внезапной смертью. Я думаю, они страшнее потому, что в них никогда не присутствует конечный результат, а еще потому, что за ними стоят силы, не подчиненные никаким законам, известным человеку. Эти силы могут грозить нам чем угодно, и самое скверное, что мы, люди, даже не знаем, где и когда следует ожидать их проявления.

Когда это началось? Это началось давно, возможно даже, я родился с этим. Но думать об этом по своему желанию я

начал двадцать пятого августа — в тот день, когда мне исполнилось девять лет, ровно девять.

Мы сидели на крыше трехэтажного дома — выше были только дымоходы, антенна и небо.

— Ты уже взрослый, — сказал Семка Граник, — тебе девять лет.

— Да, — сказал я, — трижды три — девять.

— Третий класс — не первый, — сказал Семка и вдруг засмеялся.

— Ага, — сказал я, — третий — не первый, — и тоже засмеялся.

— В первом классе, — продолжал Семка, — они еще дурачки. В первом классе они еще палочки пишут и не думают. В цирке собачки цифры складывают, а они палочки пишут.

Честное слово, это было так смешно, что можно было от смеха лопнуть: собачки, дворняжки, делают сложение, а люди палочки пишут!

— Четырежды четыре — шестнадцать, — сказал я.

Семка задумался, зашевелил губами и подтвердил, наконец:

— Шестнадцать. А что?

— Шестнадцать лет назад Котовский занял Одессу.

Семка смотрел на меня с недоверием.

— По радио передавали.

Семка задумался. Я не знаю, о чем он думал. Может быть, он опять думал о том, почему небо синее, а облака белые, и почему красное — это красное, а не голубое или зеленое.

— Пятью пять — двадцать пять, шестью шесть — тридцать шесть.

— Почему? — спросил Семка.

— Сегодня двадцать пятое августа тридцать шестого года.

— Нет, — сказал Семка, — почему пятью пять — двадцать пять, и шестью шесть — тридцать шесть, а почему не наоборот?

— А почему должно быть наоборот? — возразил я.

— А почему не должно быть? — сказал Семка и засмеялся.

Когда Семка смеется, у него изо рта летят брызги — точь-в-точь, как у его папы, Иосифа Граника. Тетя Поля называет

Семку малахольным и всегда задает ему один и тот же вопрос: "Сема, у тебя все дома?" Чтобы ответить, Семка спускается на первый этаж и, задрав голову, кричит оттуда:

— Слободка, сумасшедший дом, пятнадцатый номер!

Пятнадцатый трамвай идет на Слободку, на Слободке — сумасшедший дом. Это в Одессе все знают.

— А может, шестью шесть — двадцать пять, а пятью пять — тридцать шесть? — сказал Семка и засмеялся, и брызги опять полетели у него изо рта.

Числа уже давно жили во мне самостоятельной жизнью, не зависящей от предметов, которые видели мои глаза и щупали мои руки.

Но всякий раз, чтобы успокоиться, я представлял себе легионы стульев, столов и кроватей. Они выстраивались десятками, сотнями, то смыкаясь — при сложении и умножении, то размыкаясь — при вычитании и делении. Ну, а если три или пять только кажутся нам тремя и пятью? Что тогда? Как узнать правду?

Правда для меня была в те годы то же, что истина. Только впоследствии мне стало казаться, что это разные понятия. Но правда мне ближе, правда — это люди, а истина — это числа, обитатели зеленых звезд.

— Пять меньше шести, — сказал я, — а меньше — это меньше.

— Меньше — это меньше, — захохотал Семка, давясь собственной слюной, — а, может, меньше — это как раз больше?

Это были старые штучки Семки-малахольного, но мне от этих штучек всегда становилось не по себе. А Семке ничего, для Семки главное — не ответ, а вопрос, на который никто не мог бы ответить. Семка уже третий год сидел в четвертом классе. Во дворе все называли его локш-второгодник. Но Семка все-таки сомневался: а, может, это только кажется, может, он вовсе не в четвертом, а в седьмом классе. А?

Когда Семка остался на второй год, отец чуть не убил его. Семка клялся, что зарежет батю или убежит на Кавказ. Но он не сделал ни того, ни другого: не успел. Однажды ночью в

дом Иосифа Граника пришли какие-то люди, перевернули там все вверх дном и увели куда-то хозяина дома Иосифа Граника — партийца, служащего типографии. На следующий день Семкина мама, Лиза Граник, побежала к директору типографии. Но типография уже с ночи работала без директора.

Семка пять дней не выходил из дому, а на шестой — пришел ко мне, отсидел молча вечер на диване и только перед уходом вдруг засмеялся:

— А может, моего папу не забрали, может, он в Валегоцулово за семечками поехал?

Семкина мама, Лиза Граник, написала письмо Сталину. До этого она ходила по городскому начальству, но соседи сказали ей: "Зачем? Напиши сразу товарищу Сталину". Семкина мама послушалась соседей и написала товарищу Сталину — в Москву, в Кремль. В конверте, кроме письма, были Семкины стихи:

**Дорогой товарищ Сталин,
За рабочих вы стояли,
Вы буржуев не боялись
И рабочим счастье дали.
От всех детей спасибо вам,
Спасибо вам от пап и мам.**

Под стихами была подпись: Сема и Хилька. Хилька — это Семкина сестра. Она ходит в первый класс. Хилька еще написала, что ее папу тоже зовут Иосиф.

Ответа из Москвы не было. Прошло три месяца, но ответа из Москвы не было. Лиза пошла уборщицей в контору горпромторга. Контора была рядом — у нас во дворе, на первом этаже.

— Это — счастье, — говорили соседи. — У людей работа на Пересыпи, на Заставе. Лиза, это — счастье, — говорили соседи.

Лиза каждый день приносила домой бутылки. Эти бутылки мыли Семка и Хилька, я помогал им. Труднее всего отмывались старые бутылки из-под чернил и керосина. Но, отмытые, они были, как новые: прозрачные, гладкие, холодные. За каждую бутылку давали пятьдесят копеек: три бутылки

— буханка хлеба, семь бутылок — полкило чайной колбасы. А один раз Лиза Граник принесла семнадцать бутылок — целый мешок! Одну бутылку отказались принять — горлышко со щербинкой, — но шестнадцать взяли и дали за них восемь рублей.

— Такую работу надо поискать, — сказала в этот день тетя Поля. — Она еще махает головой! Да, да, такую работу надо поискать.

А Лиза Граник плакала, каждый день плакала, и каждый день мне рассказывал об этом Семка Граник, ее сын.

Со второго этажа, где мраморная лестница, сквозь треск и свист пробивалась песня:

**Много разных стран,
Кроме СССР:
Всюду в барабан
Ударил пионер!**

— Доктор Ланда пришел, — сказал Семка.

Да, это пришел доктор Ланда. Во дворе все знали: у доктора Ланды приемник СИ-235, — и каждый вечер он выставлял его на подоконник и включал на самую большую громкость.

— Доктор Ланда богатый, — сказал Семка, — у него пианино. При царском режиме доктор Ланда был буржуем.

Приемник внезапно умолк: может, доктор Ланда подслушал наш разговор? Нет, доктору Ланде до нас нет дела. Просто одесская станция РВ-13 кончила свою передачу, а сейчас будет говорить Москва.

— Внимание, говорит Москва. Радиостанция имени Коминтерна. Передаем материалы судебного процесса...

Материалы — это неинтересно, я люблю музыку, а материалы — это неинтересно.

— Смотри, Семка, почтальон.

Мы подползли к водостоку. Отсюда все было, как на ладони: вот почтальон зашел в парадное — не наше парадное, вот он поднимается по винтовой лестнице, стучится в двери и звонит. А теперь он спускается вниз, бегом, и сумка, подпрыгивая, хлопает его по спине. Сейчас он свернет налево — в наше парадное. Если он подымет на третий этаж, тогда... нет, до третьего он не дошел: со второго он

спустился вниз, бегом, и сумка, подпрыгивая, хлопала его по спине.

— Смешно, — сказал Семка. — Смешно.

Он прав: смешно было думать, что почтальон, дядя Аваким Вартанян, у которого весь переулок латает галоши — только галоши и боты — может принести письмо от Сталина.

Внизу от парадного к подъезду пробежала собака. Я бросил камень, но промахнулся.

— Сукины дети, вы хотите убиться? — Сукины дети — это мы, Семка и я. Сукины мы потому, что тетю Полю хватает разрыв сердца, когда она видит детей на крыше. — Они хотят убиться. Сукины дети!

— Слободка, сумасшедшая, пятнадцатый номер, — бормочет Семка, пятась на четвереньках к дымоходу. Скрывшись за дымоходом, Семка выставляет четыре дули, как четыре пистолетных ствола, и, задрав голову в небо, дико, будто у него шарят под мышками, хохочет.

Мне тоже очень смешно. Но, наверное, не так, как Семке: я уже давно молчу, а он все корчится. Умолк Семка внезапно. И лицо у него сразу изменилось. Я не могу сказать словами, как именно оно изменилось. Но у меня было такое чувство, будто это не Семка смеялся, и будто он вовсе не здесь, а где-то очень, очень далеко — там, за морем; нет, не в том месте, где оно соединяется с небом, а дальше, гораздо дальше...

— Послушай...

— Тише!

— Послушай, Семка...

— Тише, я голос слышу.

— Какой голос?

— Сталина.

— Ты что?

— Ша, тише...

Ну, эти Семкины штучки я знаю: вечно он какие-то голоса слышит — то дедушкин, то брата, хотя никакого брата у него нет, то папин и еще девочки, которую мы хоронили в мае. Она училась с Семкой в одном классе.

Семка целую неделю ходил на кладбище и жевал землю с ее могилы. Семка говорил, что девочка умерла от любви

к нему, но раньше, при жизни, она не говорила ему, что обязательно умрет, если он не полюбит ее. А он ничего не знал, и вот она умерла. Разве он виноват? Нет, он, конечно, не виноват.

Во двор заехал грузовик. В нашем дворе общежитие, в общежитии живут студенты. Два раза в год они перетаскивают свои кровати: в июне — куда-то увозят, а в августе — опять привозят. Я думаю, эти кровати никогда не были новыми, я думаю, они всегда были колченогие, с дырявыми сетками и кривыми спинками. У нас во дворе никто не спит на таких кроватях. Даже тетя Поля.

— А у Сталина кровать из золота, из чистого золота, — сказал Семка.

— Золотая кровать? Из чистого золота? Ты что?

— Дурак, — заливается Семка, — разве у Сталина может быть золотая кровать? Он же не царь какой-нибудь.

Нет, он-таки малахольный, этот Семка: тоже придумал — у Сталина золотая кровать!

Ну, а все-таки, не на полу же спит Сталин. Хотя настоящие революционеры могут и на полу спать: подвернув под себя шинель, они кладут рядом винтовку и спят. Спят они меньше, чем другие люди: революционерам некогда спать.

Но так было раньше, в революцию. Семкин папа, Иосиф Граник, тоже спал тогда на полу, прижав к себе винтовку. А теперь у него кровать: большая медная кровать с никелированными шарами. Когда проезжает трамвай, шары эти дрожат и мелко, трусливо, как ложечка в стакане, позванивают.

Снизу, из парадного напротив, опять засвистело и забулькало — доктор Ланда снова включил свой СИ-235 на самую большую громкость. Я думал, когда кончатся бульканье и свист, будет музыка, но музыки не было — говорил мужской голос, наверное, тот же, который объявил раньше, что начинает свои передачи радиостанция имени Коминтерна. А может, другой. Прежде я различал голоса, которые говорят из Москвы, а теперь нет, теперь они все одинаковые — как у нашего директора, когда он злится, и в слове "почему" у него два "ч".

"Каждый честный человек нашей страны, — радио дрожало и хрипело, — каждый честный человек в любой стране мира не мог тогда не сказать:

Вот бездна падения!

Вот дьявольская безграничность преступлений!

Террор уже в те годы был поставлен в порядок практической деятельности троцкистов. Этот террор они, к нашему великому горю, сумели осуществить в 1934 году, убив Сергея Миро..."

Голос не договорил: доктор Ланда выключил приемник. Но я знаю: голос хотел сказать про Кирова. Про это уже говорили вчера.

Когда убили Кирова, Сталин плакал. Вообще он никогда не плачет, но, когда убили Кирова, заплакал. "За эти слезы Сталина я бы изрезала их на куски", — сказала моя мама. "Их мало резать на куски", — сказала Семкина мама, Лиза Граник "Их" — это врагов народа, которые убили Кирова и хотели убить еще Сталина.

— У Сталина, — сказал Семка, — серебряная кровать.

Серебряная — это может быть. Серебро — не золото. Серебро я сам видел у тети Поли — шесть столовых ложек. А тетя Поля — бедная, у нее в комнате всего два стула, если не считать того, который стоит у стены. Но его, наверное, тоже надо считать: когда он стоит у стены, на нем можно даже сидеть.

— Это же роскошь — три стула! — кричит тетя Поля, когда к ней приходят гости. — Зачем старухе три стула, если у нее только две полушки, а на другой, извиняюсь, у меня всегда чирок.

У Юзика Кохановского, который на втором этаже, под нами, тоже есть серебро — один рубль 1924 года: правой рукой рабочий обнимает крестьянина, а левую протянул к лучам солнца, в которое упирается своими трубами завод. На ободке монеты выдавлены черные буквы: чистого серебра восемнадцать грамм. Сколько бы таких монет можно из одной кровати сделать — целый мешок, наверное. Мешок денег! В городе Багдаде был царь, у этого царя было три

или пять мешков серебряных денег. Он был самый богатый, этот царь.

Нет, у Сталина не серебряная кровать. Не может быть, чтобы он спал на серебряной кровати.

— Не может быть, — сказал я Семке.

— Тише...

Семка не смотрел на меня. Семка смотрел в небо. Тяжело, как майский жук, гудел над нами гидроплан.

— Семка...

— Ша, — сказал Семка, — не мешай.

Я думал, он следит за гидропланом, а он слушал радио. В этот раз не было ни свиста, ни треска, ни визга, ничего, кроме человеческого голоса, от которого делалось холодно и страшно:

"Я обвиняю не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь, рядом со мной, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили!

Я обвиняю не один! Я обвиняю вместе со всем нашим народом, обвиняю тягчайших преступников, достойных только одной меры наказания — расстрела, смерти!"

Сказав эти слова — про расстрел и смерть, — голос умолк, и стало очень тихо, так тихо, что не понятно было, почему нет голоса у солнца, которое ослепляет и жжет, почему нет голоса у голубого, почти синего, как море, неба, почему нет голоса у домов и дымоходов на этих домах.

Потом, после тишины, по радио сказали, что была передана речь государственного обвинителя прокурора Союза ССР товарища Вышинского на заседании... а на каком заседании, так и не успели сказать: доктор Ланда включил музыку.

У него, знаете, радио не как другие: включается оно в электрический штепсель, все равно, как настольная лампа, а слушать можно, что хочешь — только ручку поворачивать надо и следить за цифрами в окошке.

— Не может быть, — сказал я Семке, — чтобы Сталин спал на серебряной кровати. Зачем ему серебряная? У него железная кровать, — как вот эти, которые из общежития.

— И еще со ржавчиной на ножках, — сказал Семка. — И совсем старая.

А что, может, Семка прав: Сталину же ничего не надо, Сталин — все для рабочих. Поэтому буржуи его так ненавидят. И боятся. Ох, как они боятся его!

— Что бы мы делали... — мама не договаривает, она хочет сказать: что бы мы делали, если бы враги убили Сталина? — После Ленина — Сталин, а после Сталина кто? Это счастье, — говорит мама, — что Сталин — грузин, в Грузии по сто двадцать лет живут.

Странно все-таки, что Сталин должен на железной кровати спать, все равно, как я или Семка, или студенты из общежития.

Ну, а если не железная, значит, золотая или серебряная? Но серебро даже у тети Поли есть, у нашей тети Поли, которая кричит, что три стула — два целых и один сломанный — тоже роскошь.

Значит, золотая.

— Золотая, а, Сема?

Семка молчал.

Три дня мы не виделись с Семкой. На четвертый день, часов в десять вечера, когда я уже ложился, Семка зашел к нам. Он примостился на углу дивана, зажав руки в коленях.

— Сядь выше, — сказала мама, — не бойся, сядь выше, Сема.

Но Семка не двигался, Семка смотрел на мою маму. Но я не знаю точно, может, это только мне показалось, что он смотрит на мою маму.

А мама вдруг заплакала, отвернулась и тихо сказала папе:

— Бедные дети.

Папа молчал, зажав рот в ладони, он закрыл глаза и медленно растирал щеку пальцами.

С вечера двадцать пятого августа наш двор притих: в этом дворе жил Семкин папа, Иосиф Граник — враг народа.



Илья БОКШТЕЙН

МИМИКА СКЛЕПА

Затаенно-огромный сумрак
 Плач навис —
 Слепого пророка крыло,
 Мрак — над соснами Сфинкс.
 Черная дверь урагана,
 Давит мозг тишина,
 Тонкий трепет — красен, как рана,
 В клетках мозга — улыбка-луна
 Зазвенела в короне клыка из решетки,
 Оплетена каблуками-перчатками молний,
 За прутьями тела колышется плащ альбатроса —
 Ладонь крестовины окна.
 Лбом собора навис над вечером Сфинкс —
 Склеп — необъятный сумрак,
 Лицом погасил окно мне
 Из мрака намокший лист.

Мимика склепа — колонн стриптиз,
 Иконы вечерних окон зажглись,
 Икаровы крылья полет сожгли,
 Ночь погасила тревоги плач,
 В иконе мечты — в окнах самосожженья
 Хохочет пилою, петлёю танцуя палач.
 В больничной палате бессвечного зала отчаянья
 Окно открывает бездонная крышка рояля —
 Безумья беззвездная ночь.
 Лбом собора навис над соснами Сфинкс —
 Затаенно-огромный сумрак.
 Ствол-метеор упал в пламенеющий рот урагана,
 В нем месяц-священник согнулся в "Осанна!"
 Арками молнии пишет "Зог'ар"*.
 Его мысль оборвалась — лучом мироздания,
 Его жест не опущен — ладони лицо осиянно —
 Свастит тигрица-щека.
 Стук в ночи
 Стон волчих
 Камертон-засов
 Ключ заплясал — исчез
 Свет плечист —
 Я судьба, из лба львиный зев
 В нервных извилинах скорчился лес —
 Пальцы-палицы Зевса
 В череп стучит,
 В тучах вены горят — сычи
 Треснул мой череп и трещина нерв
 Девочка молния пальцами рек
 Режет замерзшую в озере ртуть
 Ртом подо льдом раскаленная грудь
 Плавится вена — стремится вспорхнуть
 Будь спокойна, как струйка, как избранный путь.
 Мамонтом тучи обескрылила стволы
 Рука в дали идущего поэта

*"Зог'ар" — ивр. "S o h a r" - "Сияние". Каббалистическая библия.
 Здесь: книга космогонии и судеб (примечание автора).

Сворачивается арками —
Глубинными разрядами вращаемой земли
Раскрылась ангелами гаснущего света.

СЮРДАЛЬ-58

Где вечером визжали кони
На тонких кружевах колец
Кругом блестящие ладони
Безумный целовал беглец
И авторучками поленья
Проткнули плащаницы три
От флейты к шкафу ответвления
Волос, песчаных изнутри.
Я их ушами оглоушен,
Утенка из щеки изъяв
Спасителя увидел душу —
Услышав у щеки: "Гав-гав!"

* * *

В глубине вишневого листа
Затаенная гвоздики густота
Гвозди из ладони,
Из малиновой земли,
Из небесной теплоты Христа.

* * *

Весь мир открыт
Я в нем забыт,
Забыто "я",
То есть "оно".
Одна тревога трет
Забитое окно.

* * *

Скрипнула дверь
На пороге
Обнял меня
Ночной ветер...
Черная даль
Чуть светится
Перышком недотроги.

* * *

Хлопнула форточка в холод
Тянутся ввысь башмаки
Шапкой белеющий голубь —
Шлейф обнаженной руки.
В знание дверь незнакома —
Видно свобода горька
Вдруг сумасшествие мертвого дома
Вспомнив, полюбит тоска.

* * *

Лунным мученьем чулан очарован
Чудо за дверью нащупало след,
Белка в ночи, как соринка искома,
Скатертью света петляет во мгле.

ИЗ ФАНТАЗИИ "ВОСЕМЬ СВЕЧЕЙ"

Третья свеча - "Усатые часы"

Ночь потопленным храмом уснула,
Над водою взошли витражи его глаз,

Ночь колосья колонн витражами крыла обернула,
 Обертон, колыхаясь, угас.
 Приближаются... пальцы вальса,
 На плечах распустив утконосые сны,
 Красной рыбкой танцуют на пальце
 Носорожие глазки сосны.
 В желтых платьях по морю салазки,
 Задрожали под ними столы,
 На столы танцевавшие кисти
 С сосен срезали молний углы.
 Приближаются... сосны вальса,
 На столе колосятся усами часы,
 В лисах мозга, как брови Богов, —
 Будто ниши басов очумело очнулись.
 Опустевшими лодками судьи-весы,
 В глубине океана поднялись две корки арбуза —
 Христианские, кроткие две дельфина десны.
 Ночь потопленным храмом уснула,
 Над водою взошли ниши заловых глаз,
 Ночь колосья колонн каблуками крыла обогнула,
 Ночь внезапно мне силы вернула,
 Но порыв незаметно угас...
 Из окон составляет Святого Закона,
 Безумно цветные иконы
 Крестовиной окна воскресающий Спас.

ХУДОЖНИК

Знает ли птица, что птица она,
 Знает ли ветер, что ветром летает,
 Ветер не знает и птица не знает,
 Вечно свободный свободы не чает —
 Птицам темниц вспышка дали видна.

Быть я любимым хотел,
 Но стихи вместо меня от любви клокотали,

Жизни не зная, слово терзали, —
 Между решетками строк трепетали
 Нервы полосками нежной зари.

Страшно и чудно звенели слова,
 Словно земля, будто колокол билась,
 Ввысь уносилась, лбом становилась,
 Над океаном Вселенной склонилась,
 Как над казненными храм Покрова,

Все из меня в бесконечность ушло,
 Ночь в сонной луже мерцает совою,
 Бездна в ней воет дырою пустою,
 Скорчилось тело, плывет, — за собою
 Тащит утопленник воли весло.

Мне ничего не жалко,
Черные капли, пушистый снег,
Я застываю, но мне еще жарко,
И засыпаю под собственный смех.

* * *

Все разбросано по комнате.
Кто-то шепчет за спиной:
"У тебя осталось прошлое,
Будущее кончило с собой".

* * *

Память враждует с мыслями,
Мысли в ссоре со мной.
Глупо и бессмысленно
Мыслью нарушить покой.

Мысли плавают по дивану,
Может быть, нас можно помирить,
Можно еще все исправить,
Но горечь не дает забыть.

А я курю и кашляю.
Научилась... Молчу...
И вдруг на измятой скатерти
Вижу чью-то слезу.

* * *

Еще ночь не минула, еще день не пришел.
Даже утро еще не настало
И весь этот покой, и весь этот простор,
Я, как пьяница, жадно глотала.

Нету больше земли — показалось мне вдруг,
Или я от нее оторвалась,

Евгения ЖЕМ

МЫСЛИ ПЛАВАЮТ ПО ДИВАНУ

* * *

Это олени или лошади,
Это снег или небытие?
Может быть, земля меня сбросила?
Или скатилась я с лестниц метро!

Голова на жесткой площадке,
Ноги смотрят куда-то вверх,
Мне ничего не жалко,
Я засыпаю под собственный смех...

Что меня ждет, не знаю:
Черный ли ворон, красный ли крест,
Или больничная койка
В тихой аллее, на гранитном стекле...

И бросала в пространство
И память, и дни, и страх, и тоску, и усталость.

Утра ранний рассвет потушил облака,
Выжимая из неба слезу,
И пространство бросало обратно в меня
И усталость, и страх, и тоску.

* * *

Я ждала, ждала, надеялась,
И лишь поняла теперь:
Все пережить в одиночку
И отчаянье, и ужас потерь.

Все пройдет и все уладится,
Когда-нибудь, когда-нибудь.
Одинокой тихой странницей
Я заканчиваю путь.

* * *

Слова стареют, слова дряхлеют,
Из последних молодятся сил.
Оттого, что им некуда скрыться,
Нет ни выхода у них, ни могил.

Слова устали, словам надоело,
Мы уходим, слова остаются здесь.
Слова завидуют мертвым,
Живым готовят словесную смерть.

* * *

Плакаты. Плакаты. Плакаты.
Бежит толпа.
Разрешается. Отменяется.
Все можно. Ничего нельзя.

Рукопожатия запрещаются.
Магазины закрываются.
Госпиталя заполняются.
Свирепствует тиф.

Ссылки. Пересылки.
Посылки. Тюрма.
На рваные ботинки
Спускается зима.

Молодость отменяется.
Плакаты вверх. Плакаты вниз.
И за ними гордая и тощая
Шагает разбитая жизнь.

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

ГРОХОТ ВЕКА

А ДЯДЯ МОЙ БЫЛ МАШИНИСТОМ

А дядя мой был машинистом
и только в свободные дни
спецовку с пятном маслянистым
снял он по просьбам родни.
Когда-то, застенчивый мальчик,
он был невысок и плечист.
И был по профессии — смазчик,
и был по мечте — машинист.
Платили бессовестно мало
(Куда тебе больше, босьяк!)
И бабушка, дядина мама,
сказала ему: "Исаак!
Послушайся умного слова,
оставь эту грязь и содом.
Ты видишь, был маклером Лева —
и выстроил каменный дом!

Из цикла "Трамвайная Москва".

Нельзя не учитывать факта:
ведь ты же бедняк до сих пор..."
Но он возвращался с рабфака
и шел кочегарить в депо.
Лишь там его сила и слава,
лишь там он артист и знаток.

Суставчатый стебель состава,
дымящийся черный цветок...
Лениво судачат вагоны,
маячат вороны в степи
и солнце подобьем короны
сияет вдали и слепит.
Но сердце,... но зрение хуже...
но годы стянулись в кольцо...
И птица над поездом кружит
и каркает прямо в лицо...
Уже замечаешь, как мысли
теряют свои голоса.
И члены серьезных комиссий
сочувственно смотрят в глаза.

Какое богатство он нажил? —
Работал, как каждый и всяк.
И старая тетя однажды
сказала ему: "Исаак!
Ты видишь, ни смысла, ни прока.
Зачем ты стоишь на своем?
Ведь пенсия тоже неплохо.
Я думаю, мы проживем..."
Ну, как вам такие расчеты,
где путают деньги с трудом?!
Как будто, он просит работы,
чтоб выстроить каменный дом!

Он спорил, седой и багровый,
выкуривал сто папирос.

И дали ему — маневровый,
заезженный, но — паровоз!
Он счастлив, он трогает буксы,
и вытерев сажу и пот,
вагоны сцепляет, как бусы,
на жилистой шее депо.
И лишь улыбнется устало,
когда просквозит на восток
Суставчатый стебель состава,
дымящийся черный цветок.

1961

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Мне кажется, что ветры могут дунуть
и разметать, не напрягая щек,
ограду, над которой могендувид
взлетел, как деревенский петушок.

Мне кажется, здесь все настолько хлипко,
натекает временно и напока,
что даже солнца вечная улыбка
насмешлива, как будто, и горька...

Все правильно: отжил свое — и в землю.
И вот, в ограду тычась бородой,
хромой служитель, съеденный экземой,
поет и плачет над чужой бедой.

А вдалеке толпятся монолиты,
и старичок в засаленном пальто
читает золоченые молитвы,
которых не прочтет уже никто...

Но старики — они неисправимы,
они упрямы, эти старики!

Весь грохот века, рвущегося мимо,
для них не стоит праведной строки.

Все ждут они, когда утихнут битвы,
и кто-то там, в далеком далеке
услышит их нелепые молитвы
на древнем, как планета, языке...

1963

СОН

Эта улица так же узка,
как твоя голубая рука.

Этот дом, и забор, и крыльцо —
как твое голубое лицо.

Не войду, а взлечу в вышину
И прильну к голубому окну,

успокоивши душу сперва.
— Ты мертва, — я скажу, — ты мертва.

Но за стеклами, в комнате той —
золотой и зеленый настой,

тяжесть лиц, и еда, и питье,
и над ними — живое, твое.

Заорать в этой страшной гульбе:
— Я жестоко ошибся в тебе! —

захочу, но забуду слова.
— Ты жива, — прошепчу, — ты жива...

1967

ВЕЧЕРОМ НА ПЛЯЖЕ

Вся мокрая, подрагивают икры,
 прошла по неостывшему песку.
 Темнеет. Приближаются к виску
 истощные ребяческие игры.
 Тревожный ветер, кожу будоража,
 колдует на поверхности воды.
 Затихли толки. Канули следы...
 Когда-нибудь откроется пропажа.

1967

* * *

Как ни были б мы в детстве уязвимы,
 всегда найдется вымытая кухня,
 пластинки, самодельный усилитель,
 свисающие на пол провода.
 Найдется торопливая беседа,
 мальчишечьего полная азарта,
 девчоночьего полная апломба,
 загадочной и звонкой пустоты.

А там, глядишь, бежавший из Варшавы
 старик портной, добряк и ясновидец,
 веснушчатыми длинными руками
 подхватит ускользавшие слова —
 и как бы ни казалась безысходной
 действительность, всегда найдется выход:
 Опомниться. Понять. Уйти из дома.
 Лечь и уснуть. Стать взрослым, наконец!..

1968

* * *

Жара. Куда-нибудь и с кем-нибудь!
 Безбрежный город в исступленной пене.
 Туманит зренье радужная муть
 и под ногами плавают ступени.

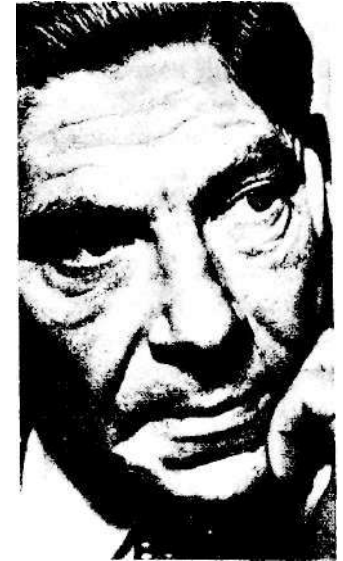
Троллейбусы кусают удила.
 Не верится, не терпится, не спится.
 И женщин раскаленные тела
 едва прикрыты платьями из ситца...

1967

АРТУР КЕСТЛЕР О СУДЬБЕ ЕВРЕЙСТВА

В этом номере публикуется одна из самых фундаментальных и спорных статей Артура Кестлера "Иуда на перепутье". Написанная вскоре после образования государства Израиль и вызвавшая бурную дискуссию в среде европейского еврейства, эта статья и сегодня не утратила актуальности, хотя в своих основных положениях вряд ли найдет поддержку у большинства читателей. Они едва ли согласятся с тем, что после образования государства Израиль оказавшееся на перепутье еврейство диаспоры неминуемо должно раствориться среди других народов и наций. В то же время мысли Артура Кестлера, одного из самых выдающихся интеллектуалов и публицистов 20 века, не могут не вызвать интереса. В яркой, полемической форме он выражает весьма распространенную точку зрения тех кругов еврейской интеллигенции, которые в ассимиляции видят единственно надежный путь избавления от антисемитизма.

Статья "Иуда на перепутье" публикуется в переводе Михаила Ледера, который чрезвычайно высоко ценил Артура Кестлера. Предлагаемый перевод является последней прижизненной работой Ледера, свидетельствующей о его непревзойденном переводческом таланте и мастерстве.



Артур КЕСТЛЕР

ИУДА НА ПЕРЕПУТЬЕ

1.

Мученичество евреев тянется уродливым рубцом по лицу истории человечества. Возрождение государства Израиль дает — впервые за две тысячи лет — возможность решить еврейскую проблему. До сих пор судьба евреев находилась в руках неевреев. Ныне она в их собственных руках. Странствующий жид оказался на распутье, и последствия выбора, который он сделает, дадут себя чувствовать в будущих веках.

Общую численность евреев во всем мире сегодня оценивают в одиннадцать с половиной миллионов. На европейском континенте нацистский режим почти полностью уничтожил весьма значительную как в численном, так и в культурном отношении еврейскую общину. Из довоенного еврейского населения в 6 миллионов (не считая России) в 1946 году остался в живых всего один миллион, то есть 15 процентов. В Берлине и Вене, в Варшаве и Праге, где евреи играли важную, а временами доминирующую роль в культурной жизни, их влияние исчезло бесследно.

Статья публикуется с небольшими сокращениями.

Главный вопрос, который евреям необходимо сейчас решить, заключается в том — желательно ли снова заполнить этот вакуум, должны ли они хлынуть назад в страны, ставшие кладбищами их родных и близких; должны ли они пытаться завоевать снова свои позиции в финансовом и промышленном мире, в литературе и журналистике, искусстве и науке, сохраняя в то же время свой национальный облик, и тем самым заново возродить "еврейский вопрос" в Европе? Ответ на этот вопрос должен быть дан на основе опыта прошлого и новой действительности, возникшей в результате создания государства Израиль.

В США, где проживает большая часть современного еврейства, проблема приобретает другую форму: должны ли американские евреи стремиться сохранить свои национальные черты, как отдельная религиозная и социальная община, или постепенно ее ликвидировать.

В третьем географическом районе с большой численностью еврейского населения, расположенном к востоку от Железного Занавеса, вопрос стоит не так остро. Нажим со стороны антирелигиозного тоталитарного государства (несмотря на временные колебания генеральной линии) постепенно ликвидирует еврейские учреждения и традиции, на которых зиждется еврейская самобытность: синагоги, язык идиш, преимущественно еврейские населенные центры и даже еврейские имена.

Если эти режимы переживут следующие два или три поколения, там совсем или почти совсем не останется следов самостоятельной еврейской общины в религиозном и этническом смысле этого слова. Зато в Западной Европе, Америке и других странах, где число евреев остается более или менее значительным, дилемма, возникшая в связи с созданием еврейского государства, весьма серьезна и остра, хотя большинство евреев и не отдают себе ясного отчета в ее истинном значении, а главное — в роковом выборе, перед которым эти события их неумолимо ставят. Говоря без обиняков, каждому еврею предстоит либо стать израильским гражданином, либо перестать быть евреем в национальном, рели-

гиозном или каком угодно другом смысле этого слова.

Эту дилемму ставят перед евреями как исторические обстоятельства, так и сама сущность еврейской традиции.

2.

Отличительной чертой еврея (я еще вернусь к этому вопросу) является не его принадлежность к той или иной расе, культуре или языку, а религия. Именно она официально определяет его еврейство с самого дня его рождения. Она же и подлинный источник его социальной и культурной самобытности, его еврейского самосознания.

Однако не в пример другим религиям, иудаизм неразрывно связан с представлением об особой нации. Можно быть католиком или протестантом, мусульманином или буддистом независимо от национальной или расовой принадлежности. Иудаизм же предполагает еще и принадлежность к исторической нации с ее собственной страной, из которой эта нация была временно изгнана. Христианство и ислам требуют от своих последователей лишь принятия известных доктрин и нравственных предписаний, верующий же еврей исповедует принадлежность к избранному народу, к семени Авраама, Исаака и Иакова, с которыми Господь Бог заключил договор, содержащий пункт о наибольшем благоприятствовании и обещании географической родины. "Да будет благосклонен Господь Бог наш, выведший наших отцов из египетского рабства". Лицо, произносящее эту молитву, претендует (независимо от того, оправдана ли эта претензия биологически или нет) на определенное происхождение, которое автоматически обособляет его от этнического и исторического прошлого народа, среди которого он живет.

Одно уже сравнение христианских и еврейских праздников вскрывает тот важный факт, что первые по характеру своему — религиозные, вторые же — преимущественно светские. Христиане празднуют мистические или мифологические события: рождество или воскресение сына Божьего, усновения святой девы и т.д.; евреи же отмечают вехи своей на-

циональной истории: восстание Макковеев, исход из Египта, гибель угнетателя Аммана.

Ветхий Завет является, в первую очередь и главным образом, летописью нации; каждая молитва, каждое ритуальное предписание укрепляет еврейское национальное самосознание. Утверждение, что иудаизм "такая же религия, как и все прочие", то есть частное дело, не имеющее ничего общего ни с политикой, ни с расой — либо лицемерно, либо противоречит само себе. Еврейская вера — самоизолирующая себя как в национальном, так и в расовом смысле. Она автоматически создает свое собственное культурное и этническое гетто.

В самом конце пасхальной трапезы евреи всего мира вот уже две тысячи лет поднимают бокал и произносят священный тост: "В будущем году в Иерусалиме!". Таким образом, еврейская религия постулирует не только национальное прошлое, но и будущее. В Декларации независимости еврейского государства, провозглашенной 14 мая 1948 года, сказано: "Изгнанный с земли Израиля еврейский народ сохранил ей верность во всех странах своего рассеяния, никогда не переставая молиться и надеяться на возвращение и на восстановление своей национальной независимости".

Евреи относятся к последним двум тысячелетиям своей истории как к диаспоре, к периоду рассеяния, а ко всем странам, лежащим за пределами Палестины, — как к галуту, к странам рассеяния. Таким образом, религиозная вера заставляет верующего еврея смотреть на самого себя как на человека со вполне определенным национальным прошлым и будущим, отличным от прошлого и будущего тех народов, среди которых ему приходится жить.

"Англичанин еврейского происхождения" — выражение, противоречащее само себе. Принадлежа к избранному народу, временно изгнанному с Земли Обетованной, он вовсе не английский еврей, а еврей, проживающий в Англии. Это относится не только к сионистам, а ко всем членам еврейской общины, которые, как бы они ни относились к сионизму

и Израилю, обязаны, в силу религиозного своего вероучения, считать себя принадлежащими к особому народу, у которого свое национальное прошлое и будущее. Тот факт, что они не сознают — или сознают лишь частично — секулярное значение их религиозной веры и что они возмущенно клеймят "расовую дискриминацию", если она исходит от противной стороны, делает еврейскую традицию еще только более парадоксальной и противоречащей самой себе.

Дело в том, что расовая дискриминация — процесс двусторонний. Тенденция, бытующая даже в просвещенных либеральных еврейских кругах, общаться только в своей среде, держаться особняком как при вступлении в брак, так и в общественной жизни, лишь частично обусловлена враждебным давлением окружающей среды. Не менее важна и традиция с явно выраженной этнической и национальной окраской.

Католические меньшинства в протестантских странах обнаруживают порой такую же, на первый взгляд, тенденцию к сплоченности. Однако аналогия эта — мнимая, так как у католиков эта солидарность или сплоченность распространяется лишь на глубоко религиозных единоверцев или на тех из них, для которых очень важно положение католической церкви в мире. Еврейская же спаянность распространяется и на членов общины, совершенно лишенных религиозных убеждений, безразличных к сионизму, считающих себя сто процентными американцами или англичанами.

Еще одним симптомом дискриминационного характера иудаизма является отношение евреев к "чужакам". Понятно, что двадцать веков гонений не могли не оставить следов подозрительности и защитных, пусть даже враждебных реакций; все это настолько очевидно, что не требует доказательств. Однако отношение евреев к "чужакам" в Израиле содержит элементы неприязни, исторически более древние, чем гетто, восходящие к племенной обособленности самого иудаизма.

Древнееврейское слово "гой", обозначающее нееврея, указывает не просто на "язычника", на "неверующего"; оно

относится не к душе, которую можно спасти, или к лицу, которое могло бы войти в общину — после того, конечно, как оно приобщится к истинной вере. Нет, слово "гой" соответствует, скорее, греческому "варвар" или нашему "туземец". Оно указывает не на религиозное, а на племенное, этническое различие. Несмотря на отдельные — и не очень настойчивые — призывы относиться хорошо к "чужакам" в Израиле, о "гое" в Ветхом Завете говорится всегда с примесью неприязни, презрения и жалости, точно к нему вообще не применимы общие человеческие стандарты.

За столетия, истекшие с тех пор, понятие "гой" частично утратило свою племенную эмоциональность, но полностью никогда не лишилось пренебрежительного подтекста.

В польских гетто молодой еврей распевал презрительные песенки о "пьянице-гое", несколько по духу не более благородные, чем антисемитские вирши о жидах. Само собой понятно, что преследуемому меньшинству вполне извинительно отвечать на враждебность и презрение окружающей среды той же монетой, однако, мне хочется подчеркнуть тот факт, что здесь мы имеем дело с каким-то порочным кругом: религия, вызывающая секулярные претензии на расовую исключительность, не может не вызывать секулярные же враждебные реакции. Сама религия отгораживает еврея и подводит к тому, чтобы его обособляли и все остальные. Архаичный, племенной элемент, свойственный иудаизму, обуславливает антисемитизм на таком же архаичном уровне. Никакое просвещение, никакая терпимость, никакие возмущенные протесты и благочестивые увещания не в состоянии разорвать этот порочный круг.

"Антисемитизм — недуг, распространяющийся, по-видимому, по собственным законам: лично я считаю, что единственная фундаментальная причина антисемитизма заключается, какой бы это ни звучало тавтологией, в том, что евреи вообще существуют. Похоже, что мы сами разносим антисемитизм в своих котомках, куда бы мы ни попали".

Это сказал покойный профессор Хаим Вейцман, первый президент возрожденного еврейского государства, подводя итог "крестного пути", длившегося двадцать столетий.

Рассчитывать на то, что в XXI веке он внезапно и сам по себе оборвется, значит пренебречь историческим и психологическим опытом, законом причины и следствия. Ему смогут положить конец только сами евреи.

Вернемся, однако, к нашей исходной точке. Мы видели, что главная отличительная черта еврея, то, что делает его евреем как по документам, так и в глазах сограждан, — это его религия; еврейской же религии, в отличие от всех прочих, присуща расовая дискриминация, национальная сегрегация и тенденция к обострению общественных отношений.

Мы твердо и окончательно усвоили этот основной факт — его подтверждают, помимо пяти книг Торы, еще сотни томов священных комментариев, а также обычный еврейский молитвенник, и, если мы преодолеем подсознательные сопротивления, мешающие признать этот факт, то первый шаг к решению проблемы нами будет сделан,

3.

Давайте разобьем евреев на три категории: а) меньшинство ортодоксально верующих, б) более многочисленную группу приверженцев той или иной либерализованной, разбавленной версии иудаизма, в) наиболее многочисленную группу неверующих, которые по сложным традиционным причинам либо из гордости продолжают называть себя и своих детей "евреями".

Ортодоксально верующие составляют за пределами Израиля небольшое и все убывающее меньшинство. Главный оплот ортодоксального еврейства был в Восточной Европе: в Польше, Латвии, Литве, Закарпатье, где нацистская жестокость достигла апогея и буквально стерла евреев с лица земли. Считанные единицы, оставшиеся в живых, рассеялись по миру. Так же, как небольшая ортодоксальная группа в Соединенных Штатах, все это, главным образом, пожилые люди. Ортодоксальное еврейство на Западе вымирает. Что же касается строго соблюдающих традиции и довольно многочисленных общин Северной Африки, Йемена, Сирии и Ирака, то они иммигрируют в Израиль.

Итак, в социальном отношении у останков ортодоксального еврейства на Западе вес не очень большой. Зато их позиция очень хорошо символизирует дилемму, вставшую перед евреями. Со времени разрушения Храма они никогда не переставали молиться о восстановлении еврейского государства, "В будущем году в Иерусалиме!".

Но вот 14 мая 1948 года их молитва внезапно сбылась. Когда молитва сбывается, то логика требует, чтобы ее больше не повторяли. Но если молитвы такого рода не повторять, если исключить из еврейской религии мистическую тоску о возвращении на Землю Обетованную, то исчезнет сама основа и суть этой религии.

Никакие препятствия уже не мешают верующему еврею получить визу в любом израильском консульстве и заказать билет в Израиль. Он должен теперь одно из двух: либо быть "В будущем году в Иерусалиме", либо перестать повторять молитву, превратившуюся в бессмысленное бормотание.

Действительно, подавляющая часть еврейских молитв, ритуалов и символов потеряли смысл со дня восстановления еврейского государства. Упорствовать в них в будущем было бы таким же нелепым анахронизмом, как если бы христиане настойчиво продолжали собираться тайно в катакомбах, или лютеране продолжали бы читать свои библии в глубочайшей тайне.

Декларация независимости государства Израиль заявляет, что это государство "будет открыто для всех евреев из всех стран рассеяния".

В канун субботы на улицах Иерусалима снова раздаются звуки рожка, созывая верующих к молитве. Бог Израиля выполнил договор, вернул землю Ханаан семени Авраамову. Верующий еврей не может больше применительно к самому себе повторять ритуальную фразу, что он-де живет в "изгнании" (разве лишь он имеет в виду добровольное изгнание по экономическим соображениям, не имеющим ничего общего с религией). Если же он отказывается выполнить предписание вернуться в страну предков, то он нарушает договор, и, пользуясь его же терминологией, предает себя анафеме и исключе-

нию из рядов еврейства — хотя сам он, конечно, никогда в этом не сознается.

Позиция ортодоксального еврея заостряет в предельной форме дилемму, распространяющуюся также на любую либеральную или реформированную форму иудаизма. Я уже достаточно говорил о том, что еврейская религия в значительной степени носит расовый и национальный характер. Любая, сколь угодно просвещенная реформа, которая поставила бы своей целью устранить это специфичное содержание иудаизма, уничтожила бы его самую суть.

Устраните идею "избранного народа", генеалогическую претензию на происхождение от одного из двенадцати колен, устраните святость Палестины как средоточия славного прошлого и память о событиях национальной истории, увековеченных в религиозных праздниках, устраните обет возвращения на Святую Землю — и останется всего лишь собрание отживших диетических предписаний и племенных правил. Это была бы не реформа религии, а полное ее опустошение и поворот стрелки истории назад, к бронзовому веку.

А теперь рассмотрим позицию подавляющего большинства современного еврейства, которое обнаруживает просвещенное или скептическое отношение к религии своих предков» но, по ряду сложных мотивов, продолжает приобщать к ней своих детей, обрекая их на "исключительность", обусловленную этой религией. Именно этот тип "нечеткого" еврея, не способного определить свое еврейство ни с этнической, ни с религиозной точки зрения, увековечивает парадоксальным образом "еврейский вопрос".

Переходя к этой центральной проблеме, я еще не один раз сошлюсь на серию статей Исаяи Берлина "Еврейское рабство и эмансипация"*¹, которая стала классическим трудом в этой области.

Уже в самом начале Берлин соглашается с тем, что "абсолютно невозможно спорить с истинно верующими евреями,

* "Джуиш Кроникл", июнь 1950.

считающими сохранение иудаизма как религиозной веры высшей обязанностью, для выполнения которой необходимо жертвовать решительно всем, в том числе самой жизнью". В дальнейшем он соглашается так же и с тем, что для этих истинных евреев единственно логичный выход — это переезд в Израиль.

Затем он переходит к категории "нечетких" евреев и говорит:

"...Однако гораздо менее ясно, что у тех, кто верит в сохранение и распространение "еврейских ценностей" (а они, как правило, не вписываются в стройную религиозную доктрину; они скорее амальгама, состоящая из определенных позиций, культурных взглядов, этнических воспоминаний и чувств, личных и социальных обычаев), такое же безоговорочное право считать, что сохранение этого образа жизни действительно стоит того, чтобы проливались реки крови и слез, которые превратили историю евреев последних двух тысячелетий в сплошное и ужасающее мученичество. После того... как нерассуждающая религиозная вера была разжижена и уступила место верности традиционному образу жизни (пусть он и был бы освящен историей, страданиями и верой героев и мучеников в каждом поколении) — уже нельзя отказаться от рассмотрения также и альтернативных возможностей".

Единственная альтернатива увековечению "еврейских особенностей", которая остается "нечеткому" большинству, переросшему еврейский национализм и еврейскую религию, — это отказаться и от того, и от другого и дать окружающей среде абсорбировать его. Все сказанное выше неумолимо толкает к этому, пускай резкому, но неизбежному выводу. Но психологические сопротивления, мешающие этому, огромны. Источники или пружины этого сопротивления можно найти отчасти в общечеловеческой тенденции избежать болезненного выбора. Не менее важными эмоциональными факторами служат здесь гордость духа, гражданское мужество, боязнь, как бы не обвинили в лицемерии и трусости, рубцы от ран, полученных в прошлом, нежелание расстаться с мистической судьбой, с особой еврейской миссией.

Я совершенно согласен с тем, что психологически у евреев имеются все мыслимые основания быть чувствительными, нелогичными и щепетильными, как только речь заходит об

отречении — хоть они и не способны отчетливо выразить, от чего, собственно, им так не хочется отречься. Но давайте согласимся так же и с тем, что хоть любой и каждый имеет полное право поступать иррационально и в ущерб собственным интересам, он лишается этого права, когда оно затрагивает будущее его детей.

Рассмотрим теперь ряд возражений, выдвинутых против меня после того, как несколько лет назад я предложил решение, которое отстаиваю в этих строках. Эти возражения удачно сведены в вопросах, поставленных передо мной сотрудником лондонского "Джуиш Кроникл" в интервью, данном после выхода в свет моей книги "Обетование и исполнение".

В о п р о с : Когда вы так категорично заявляете, что странствующий жид должен решиться на одно из двух: или стать гражданином Израиля, или вовсе отказаться от еврейства, вы имеете в виду отдаленное будущее или переживаемое настоящее?

О т в е т : Я полагаю, что выбор должен быть сделан немедленно, и это — ради следующего поколения. Наступил момент, когда каждый еврей должен задать самому себе вопрос: в самом ли деле я считаю себя принадлежащим к избранному народу, которому предназначено вернуться из рассеяния на Землю Обетованную? Другими словами: хочу ли я переехать в Израиль? Если же не хочу, то какое же я имею право называть себя и впредь евреем и наложить этим на своих детей клеймо обособленности? Если не разделять нацистских расовых теорий, то приходится признать тот факт, что такой вещи, как чистая еврейская раса, не существует в природе. Главная отличительная черта еврея — это его религия. Но эта религия теряет всякий смысл, если вы продолжаете молиться о возвращении в Сион даже тогда, когда вы твердо решили туда не ехать. Что же тогда остается от вашего еврейства? Немногим больше, чем привычка смотреть на себя, как на постороннего, и быть таким в глазах всех остальных. Но этим вы обрекаете своих детей на пагуб-

ный нажим окружающей среды, который в лучшем случае нагромождает всевозможные трудности на пути внутреннего развития и продвижения в обществе, а в худшем — ведет в Берген-Бельзен либо в Освенцим.

В о п р о с : Так вы потому так торопитесь провозглашать необходимость выбора между Израилем и полным отречением от еврейства, что опасаетесь новых Бельзенов и Освенцимов?

О т в е т : Что ж, антисемитизм все время усиливается, на что англичане, и те, несмотря на их традиционную терпимость, не так давно заразились им. Иначе они бы, конечно, не проглотили так запросто палестинскую политику мистера Бевина. Однако не столько от опасности погромов должен, на мой взгляд, спасти себя, а главное, будущие поколения, странствующий жид, сколько от фундаментального зла, вытекающего из ненормального нажима окружающей среды.

В о п р о с : А не подумали ли вы о том, что в поисках иллюзорной "нормальности" и безопасности отрекающееся еврейство пожертвует своим особым еврейским гением; и не кажется ли вам, что такая потеря еврейского наследия и еврейских талантов значительно перевесит, с человеческой точки зрения, в самом широком смысле этого слова все сомнительные выигрыши?

О т в е т : Спору нет, давление окружающей среды стимулировало появление интеллектуальных сил среди евреев в гораздо большей степени, чем у народов, среди которых они живут. Этот процесс "сверхкомпенсации" хорошо известен как психологам, так и историкам — в особенности рекомендуя Адлера и Тойнби. Нам известно также, что у большинства великих людей — в литературе, искусстве, политике, религии — было трудное и одинокое детство, их не понимали, и своими творческими достижениями они частично обязаны именно этому давлению — стимулу.

Но стали ли бы вы рекомендовать родителям сознательно создавать своим детям несчастливое детство в надежде, что ребенок вырастет Эйнштейном, Фрейдом или Генрихом Гейне?

Конечно, если полностью устранить страдания в мире, то этим вы значительно уменьшите шансы появления выдающихся личностей. Но, в конце концов, из тысячи индивидуумов, выросших при нездоровом давлении среды, у 999 разовьется скверный характер, и только один, может быть, станет выдающейся личностью. Я считаю совершенно неприемлемым и решительно отвергаю смутное еврейское чувство: "Мы должны и впредь подвергать себя гонениям, дабы производить на свет гениев". Что же касается еврейского культурного наследия, то Библия и апокрифы давно уже стали общим достоянием всего человечества. Талмуд представляет сегодня интерес разве лишь для узкой группы специалистов. Навязать еврейским детям изучение Талмуда и комментариев к Библии — верх нелепости, к тому же совершенно бесплодной, все равно как если бы головы христианских детей забивали средневековой схоластикой. Если же говорить о светской культуре, то это в основном литература на идиш, однако, язык идиш убили вместе с людьми, говорившими на нем в Восточной Европе, и я не думаю, что вы станете бороться за то, чтобы язык этот выжил в Америке, в большей степени, чем, скажем, украинский язык. Единственно законная и естественная родина для сохранения и развития в будущем специфичной еврейской культуры — это Израиль.

В о п р о с : Как вы соотносите свой афоризм: "средства оправдывают цель" со своей рекомендацией странствующему жиду убежать от самого себя? Ведь после первого шага трусливого отречения ренегату-еврею придется изворачиваться и лгать направо и налево: самому себе, соседям, детям, чтобы скрыть свое еврейское происхождение. В противном случае, то есть, если он захочет быть честным и ничего не скрывать, то ни ему самому, ни его детям так и не удастся стать стопроцентными неевреями; они в лучшем случае станут "бывшими евреями". И не думаете ли вы, что такой вот "бывший еврей" станет новой разновидностью этакого странного отщепенца, глубоко презираемого евреями и, вероятно, не очень уважаемого также антисемитами?

О т в е т : Нынче каждый еврей имеет возможность поехать в Израиль, так что никакой трусости в том нет, если выбрать

Другую альтернативу и отречься от еврейства. Отречение это приобрело добровольный характер, какого оно до возрождения Израиля не имело... Цепляться же за отживший статус "негативного еврейства" из одного лишь упрямства или из страха, что тебя назовут трусом, это та же трусость, только загнанная внутрь, платить за которую придется ни в чем не повинным детям. Что же касается честности, то именно к ней я настойчивее всего и призываю. Чтобы отречься от еврейства, требуется несколько не меньше бескомпромиссной честности, чем быть "В будущем году в Иерусалиме!". Тот, кто отходит от еврейства, ничего от детей своих скрывать не должен; вместе с тем он не должен и тревожить их преждевременно. Это все — дело такта и деликатности, такое же как, скажем, половое воспитание.

В о п р о с : Из всех евреев, подвергшихся гонениям со стороны Гитлера, никто не пережил такого безысходного отчаяния, как именно те, кто считал, что смысл с себя последние следы родительского или прародительского еврейства. Не может ли случиться, что в той или иной форме такая же судьба выпадет когда-нибудь и на долю этих гипотетических бывших евреев и ранит их куда больше, чем настоящих евреев?

О т в е т : Что бы вы ни сделали в жизни, всегда остается риск: что-нибудь получится не так. Все же я уверен, что в общем и целом весь мир будет искренне приветствовать ассимиляцию евреев. Индивидуальные осложнения возможны, в особенности в первом и втором поколении, но потом (надо учесть еще смешанные браки) еврейский вопрос постепенно исчезнет, вызвав удовлетворение у заинтересованных сторон.

В о п р о с : А какое религиозное воспитание вы бы рекомендовали, если только вы вообще считаете такое воспитание нужным, детям бывших евреев?

О т в е т : Прежде всего мне хотелось бы внести ясность в следующее: когда я отстаиваю отказ от иудаизма тех евреев, кто и без того отказывается жить по его предписаниям (то есть вернуться на Землю Обетованную), то я о т н ю д ь

не призываю к переходу в какую-либо другую веру, если они духовно и искренне к этому не стремятся. Это было бы лицеприятием, достойным всяческого презрения. Но столь же решительно я стою за то, что дети этих "бывших евреев", не связанные больше ни духовно, ни формально с еврейской верой, от которой отреклись родители, должны получить такое же воспитание, как все остальные дети из среды, в которой они живут. Если дети той школы, где они учатся, ходят в англиканскую или католическую церковь, то пускай и они ходят туда же; главное, не налагайте на них клейма обособленности. Сам-то новорожденный не может ведь выбрать себе вероисповедание по вкусу. Современная же практика во всем мире такова, что родители, не придерживающиеся каких-либо определенных религиозных убеждений, предоставляют религиозное формирование своих детей случаю: школе, куда дети попадут, или среде, в которой живут.

Очень важно, на мой взгляд, чтобы ребенок начал свое духовное развитие с веры в Бога — все равно, еврейский это Бог, кальвинистский или методистский; окончательно он решит о своей принадлежности к той или иной религии по достижении совершеннолетия. Говоря грубо, я считаю просто преступлением, когда родители, которые не верят в еврейскую религию и не живут по ее предписаниям, накладывают клеймо "отщепенства" на беззащитного ребенка, который вовсе об этом их не просил.

В о п р о с : Не чувствуете ли вы, что есть что-то мерзкое и унижительное в такой покорной капитуляции меньшинства перед большинством? Нисколько не исповедуя, скажем, католическую веру, бывший еврей должен отправить своих детей в иезуитскую школу. Он должен хоронить заживо свои собственные воспоминания и традиции, а ведь память эта касается, увы, и жестоких преследований со стороны как раз тех, в чьи ряды он должен теперь непрощено втесаться. Не кажется ли вам, что вы требуете чересчур многого?

О т в е т : Я начну лучше с конца, то есть, с вашего последнего вопроса, касающегося памяти о гонениях в прошлом. Не предлагаете же вы, в самом деле, заботливо пестовать не-

приязнь и увековечить вражду! Что и говорить, нелегко порвать со своим прошлым, выбросить вон традиции и воспоминания. Однако именно это — и без особых усилий — сделали миллионы американских иммигрантов. Если же мы признаем тот факт, что антисемитизм непреходящее явление, то эта жертва диктуется в случае евреев гораздо настойчивее, чем в случае, скажем, итальянцев, эмигрировавших в США. Если итальянцы спасались от одной лишь нищеты, евреев преследует призрак поголовного истребления. Высший долг евреев — ответственность за судьбу своих детей, как бы при этом ни были задеты их собственные чувства.

В о п р о с : А может быть, все-таки для еврея диаспоры гораздо лучше, гораздо разумнее и достойнее продолжать жить, как и до этого, но в то же время помогать строить государство Израиль, как возможное убежище в мире, где меньшинства подвергаются гонениям?

О т в е т : Нет. В этом как раз и заключается трагедия евреев: они хотят одновременно и сохранить пирог целым и полакомиться им. Это — гибельный путь.

В о п р о с : Верите ли вы, что Израиль, как вы утверждаете в эпилоге к книге "Обетование и исполнение", нынче "достаточно крепок", чтобы обойтись без помощи диаспоры? Не слишком ли рано вы бросили клич: "Либо Израиль, либо отречение"? Ведь если даже допустить, что пять миллионов евреев из стран рассеяния вдруг решатся прибыть "В будущем году в Иерусалим", там может не оказаться для них места?

О т в е т : Израиль находится нынче не в худшем положении, чем любая европейская страна, над которой висит коммунистическая угроза. И все же, в виду гигантской задачи, стоящей перед Израилем в деле абсорбции иммигрантов, я предложил бы, чтобы на протяжении определенного периода — скажем, лет пяти — мировое еврейство всячески помогало деньгами устройству евреев, которые желают или вынуждены переехать в Израиль. После этого переходного периода в мире не должно больше быть ни "Американской сионистской организации", ни "Объединенного Еврейского Призыва", ни

сионистского движения, ни сбора средств — словом, надо положить конец этому парадоксу, когда государство, гордящееся своей независимостью, ходит и побирается.

Что же касается вашей гипотезы о пяти миллионах евреев, готовых хоть сейчас переехать в Израиль, то это чистейший бред. Основная масса евреев живет в Америке. И лишь несколько сот американских евреев переехало в Израиль со дня провозглашения его независимости. Это было бы чудесно, если бы можно было уговорить хотя бы пятьдесят тысяч американских евреев, обладающих нужными специальностями, переехать завтра в Израиль. Своей западной культурой, своим профессиональным опытом они бы преобразили страну и принесли бы в десять раз больше пользы, чем если они подадутся туда когда-нибудь в будущем.

В о п р о с : Скажите, вы сами еще считаете себя евреем? Или вы предпочитаете, чтобы вас больше не считали евреем?

О т в е т : Что касается религии, то в моих глазах Десять заповедей и Нагорная проповедь столь же неотделимы, как корни и цветок растения. Что же касается крови, то я не имею ни самонаименования — да вопрос этот меня нисколько не интересует, — сколько древних евреев, вавилонцев, римских легионеров, крестоносцев и венгерских кочевников числятся среди моих предков. По-моему, это была чистейшая случайность, что мой отец был еврейского вероисповедания. Вместе с тем, я чувствовал, что этот факт налагает на меня моральный долг отождествлять себя с сионистским движением, пока гонимые и бездомные не имели пристанища. Как только Израиль стал фактом, я почувствовал, что долг этот на мне больше не лежит и я волен выбирать: стать ли израильянином в Израиле, либо европейцем в Европе. Все мое воспитание и культурная принадлежность привели к тому, что именно на Европу пал мой естественный выбор. Итак, чтобы дать точный ответ на ваш вопрос: я считаю самого себя прежде всего членом европейского общества, во-вторых, натурализованным гражданином Великобритании неопределенного и смешанного расового происхождения, признающим нравственные ценности и отвергающим догмы нашей эллинско-

еврейско-христианской традиции. В какое такое птичье гнездо помещают меня другие, это уж их дело.

4.

Опубликование этого интервью вызвало общее возмущение среди читателей "Джуиш Кроникл". Открыло эту кампанию протеста письмо президента Англо-Еврейской Ассоциации, почтенного Монтэгу, депутата парламента и кавалера ордена Британской империи, которое является замечательным образчиком того, как спорный вопрос объявляется истиной, не требующей доказательств.

"...Мистер Кестлер... пытается оправдать свой поступок тем, что в настоящее время для еврея существуют только два пути: эмигрировать в Израиль или отречься от своей религии.

Много евреев со всем уважением, симпатией, пониманием, а также с наилучшими пожеланиями успеха от своих общин избрали или выберут первый путь. Однако почему тысячи их единоверцев обязаны избрать второй путь — путь, избранный мистером Кестлером?

Англо-Еврейская Ассоциация насчитывает в своих рядах много верующих евреев, благочестие которых не подлежит никакому сомнению; они, как и все остальные члены Ассоциации, не сталкиваются при существующих обстоятельствах ни с какими затруднениями в том, чтобы примирить иудаизм и глубокую, искреннюю благожелательность к Израилю, с одной стороны, и гордость своим британским гражданством, активным участием в гражданской жизни, вытекающим из этого своего статуса, с другой."

Наряду с письмом президента Англо-Еврейской Ассоциации газета напечатала протест другого читателя, писавшего между прочим:

"Ассимиляция... ничего не решает. Вина, дорогой мистер Кестлер, лежит не на евреях, а на нетерпимости окружающего населения..." и несколькими строчками ниже добавляет:

"Еврей, пытающийся ассимилироваться, в моих глазах жалкое существо, к тому же лицемерное..."

Неделю спустя газета выступила с передовой статьей:

"В высшей степени провокационное интервью с мистером Артуром Кестлером, напечатанное недавно в "Джуиш Кроникл", должно напомнить нам тот факт, хорошо известный большинству еврейских мате-

рей, что домашний очаг — вот цитадель, призванная защитить еврейскую веру... Да и трудно найти домашний образ жизни, который бы мог сравниться с традиционно еврейским. Диетические предписания получают что ни день все новые и новые подтверждения со стороны ведущих медицинских авторитетов: домохозяйка-еврейка на протяжении веков знала, как часто они оберегли ее самоё и любимых домашних от болезней и напастей, свирепствовавших вокруг. Так что же, именно теперь, когда весь мир так остро нуждается в высоконравственных мужчинах и женщинах, она должна отречься от своей веры, обезличить свою собственную индивидуальность, а также характер своей семьи лишь затем, чтобы мальчики и девочки были похожи на унифицированных роботов и их нельзя было отличить друг от друга?"

В том же номере были напечатаны еще несколько негодующих читательских писем, и все они являются столь же наглядной, сколь и досадной иллюстрацией того, как религиозное рвение вырождается, незаметно для самого верующего, в расовое высокомерие и неистребимую злобу.

"Вместе с подавляющим большинством своих еврейских братьев, проживающих как в Израиле, так и за его пределами, я чувствую себя бойцом в огромной шеренге товарищей по оружию, одетых в духовную броню, рассеянных по всему миру и ведущих тяжкий, нескончаемый, оборонительный бой за мир свободы, правды и справедливости. Эта борьба началась в тот день, когда дети Израилевы покинули рабовладельческий Египет... Более чем тысячу лет назад один еврейский поэт — или п а й т а н — дал нам ответ в "В е х а х ш е а м д а", этом прекрасном алмазе, вставленном в "Хагаду":

"Именно это поддержало наших отцов и нас самих. Ибо не какой-нибудь один лишь враг восстал, чтобы погубить нас, но в каждом поколении они восстают, чтобы погубить нас, но Пресвятой, да будет он благословлен, спасает нас из их рук..."

Еще через неделю газета напечатала еще одну передовицу:

"Если разобраться по существу, то дилемма, которую ставит мистер Кестлер... ложна в самом ее основании... Хотя Святая Земля должна обладать в глазах еврейства уникальным значением, все же миссия иудаизма, миссия еврейского народа не ограничивается одной лишь Святой Землей, но, по самому своему характеру, универсальна... Бессмертные мессианские надежды и стремления нашей религии заставляют нас отказаться от нашей всемирной миссии на службе всего человечества. Именно в эти дни мы более чем когда-либо раньше призваны содействовать распространению, в какой бы стране мы ни проживали, еврейских идеалов справедливости и братства между

народами. Трудно разделять убеждение и удовлетворение мистера Кестлера в том, что современная цивилизация не нуждается больше в этом еврейском вкладе".

Похоже, что официальный орган британского еврейства все еще рассматривает "идеал справедливости и братства" как еврейскую монополию; неудивительно поэтому, что передовая статья и завершается цитированием несколько старомодного стиха: "А вы будете у Меня царством священников и народом святым". Если принять всерьез претензию газеты, то это означало бы, что господа Бен-Гурион и Мендес-Франс, товарищ Каганович и Генри Моргентау, Альберт Эйнштейн и Льюис Б. Майер из киностудии Метро-Гольдуин-Майер — все они заняты исполнением какой-то особой еврейской миссии. Именно выпренная напыщенность такого рода породила легенду о Сионских мудрецах, и как раз из-за нее так живучи подозрения в каком-то еврейском всемирном заговоре.

Тем не менее полемика эта принесла несомненную пользу: она выпустила кота расового высокомерия из религиозного мешка и раскрыла трагичную противоречивость еврейского существования. Потому что, как же, ради всего святого, примирить утверждение, что англичанин еврейского вероисповедания — такой же точно, как любой другой англичанин, с утверждением, напечатанным, кстати, в том же номере, что: "Быть евреем — это значит верить, что прошлое еврейского народа — ваше прошлое, его настоящее — ваше настоящее, его будущее — ваше будущее"?

Выдержки, которые я привел, дают лишь бледную картину неистовой брани, вызванной этим интервью в этой, вероятно, наиболее либеральной, толерантной и просвещенной еврейской общине во всем мире. Становится понятной мука истинно верующего, восклицающего у Джона Донна*: "О, для некоторых не быть мучеником — высшая степень мученичества". Однако протестовать против мученичества и в то же время вымаливать его еще чуть-чуть для детей и внуков, совершенно, к тому же, не понимая причин, — такую позицию, пожалуй, отстаивать куда труднее.

* Джон Донн (1572—1631), английский поэт и моралист, автор "Много мученика" (1610).

5.

Я разработаю теперь несколько тщательнее ряд вопросов, затронутых в этой полемике, и попытаюсь одновременно перейти от абстрактных рассуждений к практическим мерам. Проще всего прибегнуть к форме воображаемого диалога (который в данном случае основывается на целом ряде бесед, действительно имевших место в прошлом).

В о п р о с : Все предыдущие попытки еврейских общин слиться полностью с народом страны, в которой они жили, закончились неудачей — возьмите хотя бы Германию. Почему вы думаете, что на сей раз результаты будут иными?

О т в е т : Причина неудач и трагедий в прошлом заключается в том, что все попытки ассимилироваться, предпринятые до сих пор, были половинчаты, основанные на неверной предпосылке, будто евреи смогут стать полноценными сыновьями народа-хозяина, сохраняя в то же время свою религию и оставаясь "избранным народом". Этническая ассимиляция невозможна при сохранении иудейской веры; иудейская же вера рушится при этнической ассимиляции.

Еврейская религия увековечивает национальную обособленность — и от этого факта никуда не денешься.

С другой стороны, все же имеется один пример успешной ассимиляции большого масштаба: испанские евреи, которые около пяти столетий назад перешли в католичество, чтобы не подвергнуться изгнанию, и которые (за исключением героически упрямого меньшинства, продолжавшего тайно исповедовать иудаизм, пока их не постигла мученическая казнь) были полностью — как в этническом, так и в культурном отношении — абсорбированы испанцами.

Приведу еще одну цитату из Тойнби: "Имеются все основания думать, что в нынешней Испании и Португалии в жилах иберийцев течет немалая доля крови этих перешедших в христианство евреев, в особенности в высших и средних классах". И тем не менее даже самый рьяный психоаналитик

оказался бы перед трудностью, если бы ему доставили образцы живых испанцев и португальцев высших и средних классов, обнаружить среди них тех, у кого были предки евреи.

В о п р о с : Ваши рассуждения основываются на предположении, что единственная или хотя бы главная отличительная черта еврея — это его религия. А как же расовые признаки, физиономические черты и те особенности еврейского характера и поведения, которые трудно определить, но легко опознаются?

О т в е т : Расовая антропология — весьма спорная и темная область. Однако антропологи согласны по крайней мере в следующих двух вопросах: 1) что библейское племя принадлежало к средиземноморской ветви кавказской расы и 2) что разношерстная масса рассеянных по всему миру индивидумов, которых принято обозначать словом евреи, является с расовой точки зрения крайне смешанной группой, имеющей очень мало, а во многих случаях и вовсе ничего общего с этим племенем. Разительный контраст между низкорослым, жилистым, смуглым йеменским евреем, похожим, скорее, на араба, и его скандинавским единоверцем — очевиден. Менее известен тот факт, что даже евреи, проживающие в близком географическом соседстве (например, русские и польские евреи), обнаруживают весьма четкие физические различия. Некоторые итальянские и испанские физиономии имеют выраженный семитский характер, а у некоторых испанских семейств процент семитических генов, вероятно, выше, чем у тех же групп европейских евреев, чьи предки попадались на пути крестоносцев и прочих мародерствующих полчищ.

Однако наиболее загадочным расовым парадоксом является совершенно нееврейская внешность и ментальность нового поколения евреев, родившихся уже в Израиле.

"Слово "сабра", которым называют молодого еврея, родившегося уже в Палестине, обозначает вообще-то колючий, дикорастущий и лишанный определенного вкуса плод кактуса. Внешне он неизменно рослее родителей, крепкого телосложения, чаще всего светловолосый или брюнет, нередко курносый и голубоглазый. Самая поразительная черта "сабры" — это его совершенно нееврейская внешность: даже его

движения какие-то угловатые и резкие, в противоположность плавной округлости, столь характерной для "еврейских" телодвижений. Девушки, напротив, отошли в гораздо меньшей степени от восточно-европейского физического типа. В общем же и целом вряд ли можно сомневаться, что раса подвергается какому-то странному процессу изменения, обусловленному, вероятно, резкой переменой климата, питания и минерального баланса почвы. Похоже также, что у женщин этот процесс происходит медленнее, что они более инертны и стабильны во всем, что касается физиологического типа. Взятый в целом феномен этот служит разительным подтверждением того, что среда обладает более сильным формирующим влиянием, чем наследственность, и то, что мы, как правило, рассматриваем как еврейские характерные черты, обусловлено не расовой принадлежностью, но является результатом длительного социального нажима и определенного образа жизни, некоей психосоматической реакцией на "отрицательный стимул".

Что касается ментальности, то средний "сабра" отважен до безрассудства, дерзок, обращен вовне и не слишком склонен к интеллектуальной рефлексии, а то и вовсе относится к ней с нескрываемым презрением. Особенно хороши дети, однако, после достижения половой зрелости, их черты лица и голос грубеют, но, пожалуй, никогда не достигают уравновешенности взрослого. Для лица типичного "сабры" характерна какая-то незавершенность, неопределенные черты переходного какого-то состояния. Говорит он отрывисто, без модуляций, что нередко производит впечатление грубости... Невозможно предсказать, какую именно цивилизацию он создаст в будущем, но одно, пожалуй, ясно уже сейчас: через одно-два поколения Израиль станет совершенно "нееврейской страной". ("Обетование и исполнение", 1949).

Таким образом, после того как ложные выводы расового подхода оказались выброшенными вон, все, что остается от библейского племени — это статистически весьма незначительный "комплект" генов. В определенных замкнутых общинах, члены которой вступают в брак только между собой, эти гены "выменделировались"*, как говорят биологи, в кривые носы и тоскливые глазные яблоки.

Но даже при рассмотрении этих черт лица чрезвычайно трудно провести грань между истинной наследственностью и влиянием среды. Весьма однообразные физиономические изменения у священников, живущих в безбрачии, у актеров,

* Мендель Грегор (1822-1884), австрийский ученый и священник, положивший основу науки о наследственности.

у заключенных, отбывших долгие сроки, и других типов "профессиональных физиономий" тоже можно легко спутать с расовыми чертами; а все усиливающееся сходство стареющих супругов — не менее поразительное подтверждение роли совместной среды в формировании физиономических черт.

Переходя теперь от внешних черт к ментальным привычкам и особенностям евреев, мы обнаруживаем такое географическое разнообразие, что ничего не остается другого, как видеть в них результат социальной, но не биологической наследственности.

Типично еврейское отвращение к пьянству, например, неосознанный пережиток векового проживания в весьма ненадежных условиях, где опасно было понизить бдительность: еврею с желтой звездой на спине приходилось быть все время начеку, сохранять трезвость и наблюдать не только с насмешкой и презрением, но и со страхом за фортелями пьяного "гоя". Воздержание от алкоголизма, а также и от других эксцессов — от безрассудства и дебоша — внушалось родителями из поколения в поколение, вплоть до пьющего одно лишь молоко французского премьера* и до непьющих хозяев Шато-Лафит **.

Еврейскую страсть к казуистике, препирательству по пустякам и резонерству можно свести к изучению Талмуда, которое занимало до совсем недавнего времени доминирующее место в жизни еврейских детей в школе. Как подчеркнул один блестящий биограф Маркса ***, диалектика обязана своим происхождением раввинским предкам Маркса столько же, сколько Гегелю.

Финансовый и юридический гений евреев — явный результат того факта, что вплоть до конца XVIII века, а в некоторых странах — даже и в XIX веке, евреям был закрыт доступ к большинству нормальных профессий. Примером того, что в литературе и искусстве евреи играют скорее интерпретатив-

*Мендес - Франс.

**Ротшильды.

***Леопольд Шватцшильд. Красный пруссак, Лондон, 1958.

ную, чем творческую роль, были исчерпывающим образом проанализированы в эссе Исаяи Берлина.

Итак, мы имеем небольшое и довольно спорное "твердое ядро" еврейских черт в смысле биологической наследственности и богатейший комплект физических и умственных черт, обусловленных средой и передаваемых наследственностью социальной. Как биологические черты, так и социальные, слишком сложны и расплывчаты, чтобы можно было опознать еврея с достаточной достоверностью. Решающим признаком, а также официально признанной отличительной его чертой остается все-таки его религия.

В о п р о с : Ваше рассуждение, может быть, и логично, но все-таки бесчеловечно — потребовать от народа, чтобы он в целях удобства выбросил за борт многовековую традицию, точно ничего не стоящее барахло.

О т в е т : Давайте попытаемся определить, что, собственно, мы имеем в виду, когда говорим о "еврейской традиции". Имеем ли мы в виду идею монотеизма, веру в единого и невидимого Бога, этос еврейских пророков, мудрость Соломона, книгу Иова? Все это — неотъемлемая часть священного писания и является общим достоянием Запада. А вот все то, что было создано после Библии — либо не специфично еврейское, либо не является больше частью живой традиции.

После захвата Иерусалима Титом в 71 году нашей эры евреи перестали быть нацией, не имели больше ни своего языка, ни собственной светской культуры. Древнееврейский перестал быть разговорным языком задолго до начала христианской эры (в дни Иисуса в Палестине разговаривали по-арамейски); еврейские ученые и поэты в Испании писали по-арабски, точно так же, как их потомки писали по-итальянски, по-немецки, по-английски, по-французски, по-польски и по-русски. Правда, некоторые замкнутые еврейские общины создали и развили свои собственные наречия или жаргоны, такие, как ладино и идиш, но ни один из них не создал литературу мирового значения и, хотя бы отдаленно, сравнимую с огромным "еврейским" вкладом в немецкую, австрийскую, английскую или американскую культуру.

Единственное специфично еврейское интеллектуальное творчество в постбиблейских столетиях было богословским. Однако Талмуд, Каббала и бесчисленные фолианты раввинских комментариев неизвестны 99 процентам еврейской читательской публики, и они в такой же мере не являются частью живой традиции, как схоластические упражнения средневековых "ученых мужей". Вот единственный продукт специфично еврейской "традиции", если вложить в это понятие конкретное содержание за последние две тысячи лет.

Другими словами, начиная с первого века нашей эры, у евреев не было ни своей собственной национальной истории, ни языка, ни литературы и ни культуры. Их достижения в области философии, науки и искусства заключаются во вкладе, который они внесли в культуру народов-хозяев; они не составляют их совместное культурное наследие или автономную совокупность традиций.

Ошибочность постулирования какой-то особой еврейской "миссии" или "традиции" становится самоочевидной, если мы, пользуясь этой терминологией, станем утверждать, что Дизраэли был частью этой традиции, но не Гладстон, что Троцкий выполнял какую-то миссию, а вот Ленин — нет, что Фрейд тоже действовал в духе еврейской традиции, но никак не Юнг; и что еврейские читатели должны предпочесть Пруста Джойсу и Кафку Э.А.По, потому, что первые два были частью традиции, а последние же — нет.

В о п р о с : Порезонерствуем еще немного. Вы разделяете эту, не поддающуюся определению, сущность, которую мы называем "традицией", словно это кусок мяса, который можно разрезать на ломти. Однако когда еврей, пусть он и стопроцентный американец, к тому же неверующий, слышит древнее восклицание: "Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь — один", в нем шевелится что-то такое, что опрокидывает все ваши аргументы.

О т в е т : То, что шевелится в душе еврея, свойственно всем людям. Я отвергаю наглую самонадеянность вашего свидетеля, считающего, что послание это обращено к нему одному или только к его племени. Это, с вашего позволения,

метафизический снобизм, основанный на генеалогических предположениях, ничуть не лучше мифа Хьюстона, Стюарта, Чемберлена о нордическом человеке.

В о р о с : Вы очень нетерпимы к еврейской эмотивности, но ведь имеются и другие национальные меньшинства, которые столь же чувствительны и привязаны к традициям, возьмите хотя бы ирландцев-католиков в США.

О т в е т : Это неправильная параллель. Привязанность американских ирландцев к своей старой родине относится к совсем недавнему прошлому, к тому же она улетучивается во втором или третьем поколении. Еврейская же "старая родина" — это родина не их родителей или дедов, а гипотетического предка, покинувшего ее две тысячи лет назад. Привязанность американского еврея к государству Израиль совсем не того рода, что привязанность, скажем, итало-американцев к Италии. Итало-американцы прибыли из Италии. Американские же евреи отнюдь не прибыли из Израиля, а стремятся туда или, по крайней мере, делают вид, что стремятся в своих молитвах.

Из этого, кстати, вытекает весьма серьезная проблема. В обеих мировых войнах американцы немецкого, итальянского и японского происхождения воевали в рядах армии США против своих старых отечеств. Они полностью ассимилировались и освободились от пут, связывавших их когда-то со своими предками. А вот англичанин либо американец, упорно считающий себя евреем по религии и традиции, остается привязанным к государству Израиль как в мистическом, так и в прямом политическом смысле.

Обвинение в "двурушничестве" — старый аргумент антисемитов. Однако существование государства Израиль и международной сионистской организации придают этим обвинениям известную конкретность, сопряженную с немалыми опасностями. Я имею в виду опасности не для Англии и Америки, а для самих евреев. Израиль ныне уже не мистическое обетование, а независимое государство с независимой политикой, и любая политическая привязанность к чужой стране неизбежно вызывает подозрения в дни меж-

дународных кризисов. К каким последствиям могут привести такие подозрения нам, увы, слишком хорошо известно из прошлого.

В о п р о с : Пусть даже все ваши доводы правильны, у еврейских родителей все же останется глубокая неприязнь, духовное и эстетичное какое-то отвращение к мысли воспитать своих детей в вере, которую они сами не разделяют.

О т в е т : Мой призыв обращен к тем родителям, которые и не разделяют еврейскую веру; к тому подавляющему большинству агностиков или почти агностиков, которое принимает этические ценности иудейско-христианского наследия и отвергает всякую жесткую доктрину. Система образования большинства стран предусматривает, чтобы ребенок, поступая в школу, учился и религии. Решение о том, будут ли его учить католическим, протестантским или еврейским догмам, зависит не от самого ребенка, а от случайной вероисповедальной принадлежности родителей. И родители, отвергающие всякие догмы, поступят всего разумнее, если скажут: "Раз уж мой ребенок должен получить какое-то религиозное воспитание, то пусть оно будет такое же, в каком будут воспитываться все остальные дети, с которыми он играет, а не такое, какое обособит его архаичной и расовой своей доктриной, превратит его в козла отпущения и породит в нем ментальные комплексы. Какой именно доктрине его будут учить, это, в конце концов, не так уж важно: все равно, достигнув совершеннолетия, он сам решит свои духовные проблемы. Важно лишь, чтобы с самого начала не нагромождать на его пути препятствий.

В о п р о с : Ваши аргументы обнаруживают какой-то корыстный подход к религиозным проблемам, что уже само по себе представляется мне циничным и непорядочным.

О т в е т : Это только потому, что вы сами страдаете комплексом вины агностика, который не в силах придерживаться какой-либо догматической веры, но очень бы этого желал. Я даже подозреваю, что это верно по отношению ко всем нам, детям постматериалистической эры, полным трансцендентальных устремлений; снова сознающим некий высший,

сверхчувственный миропорядок, но слишком интеллектуально честным, чтобы принять какую-нибудь догматическую его версию как единственно правильную. Если вы относитесь к этой именно категории, то вы, конечно, тоже рассматриваете исторические отчеты о жизни Будды, Моисея, Иисуса и Мухаммеда как верные символы, как прототипы трансцендентального опыта и духовных чаяний человечества, и тогда не велика разница, какому именно комплексу символов научат вашего ребенка соответственно случайностям его рождения. Лично я считаю чрезвычайно важным для нравственного развития ребенка начать с веры, в той или иной форме, с божественного миропорядка, рамки которого он воспримет поначалу как истинную веру, пока его духовное содержание созреет и выльется в символическую интерпретацию. С этой точки зрения — а именно она служит основой всего нашего спора, так как мои рассуждения отнюдь не обращены к ортодоксально верующим, — совершенно неважно, будет ли воображение ребенка сосредоточено на Моисее, добывающем воду из скалы, или на чуде превращения воды в вино в Кане Галилейской, или на праздновании субботы на седьмой или первый день недели. Но отдаете ли вы себе отчет в том, что этот пустяковый календарный спор, то обстоятельство, что еврей закрывал свою лавку в субботу, в воскресенье же торговал, оказывал в высшей степени дразнящее действие и был причиной кровавых гонений на протяжении длиннейшего ряда веков? Неужели вы считаете цинизмом горестное сожаление о том, что несчетные массы евреев подвергались костру, убийствам, погромам, изгнаниям, сожжению в газовых камерах во имя какого-то липпутского фанатизма в вопросе о том, с какой именно стороны нужно вскрывать духовное яичко?

В о п р о с : Давайте вернемся к практической стороне вопроса. Вы, значит, за то, чтобы евреи, отвергающие догмы, воспитывали своих детей, как члены той конгрегации, в которую входят их соседи? А что вы скажете о "закрытых" жилых кварталах и школах и тому подобных препятствиях, помехах и затруднениях?

О т в е т: Несомненно, что в первом поколении будет множество всего этого, множество горечи, разочарований и личных неудач. Зато во втором поколении будет гораздо меньше, а в третьем, когда смешанные браки станут почти нормой и исчезнут мотивы к добровольному обособлению, "еврейский вопрос" мало-помалу рассосется и полностью исчезнет. Яркой иллюстрацией этого процесса служит культурная и социальная однородность американцев третьего поколения, какими бы они ни были разными по происхождению. Иммигранты первого поколения обнаруживают естественную тенденцию держаться друг друга и относиться с подозрительностью и враждебностью к прочим группам. Но уже у второго поколения, прошедшего американскую школу, столь же естественная тенденция порвать с родительскими традициями, сбросить с себя отличительные клейма и стать вполне оперившимися американцами. Среди европейских иммигрантов самых разных национальностей одни лишь евреи сопротивляются этому процессу "стирания" и упорно цепляются за свою религиозную, социальную и этническую обособленность поколение за поколением.

В прошлом, повторяю, все это было вполне оправдано. До возрождения Израиля отречение от еврейства было равносильно отказу в солидарности гонимым и могло рассматриваться как трусливая капитуляция. Сойти с исторической сцены в кульминационный момент навыворот евреи никак не могли. Но к возрождению еврейского государства достигнута настоящая кульминационная точка, круг замкнулся. Теперь речь идет не о капитуляции, а о свободном выборе. Следовательно, евреи обязаны нынче сделать перевал на своем длинном пути и посмотреть в лицо фактам, пренебречь которыми в прошлом было не только извинительно, но и благородно.

6.

Мне остается теперь заняться еще одним возражением, последним, имеющим гораздо больший психологический

вес, чем все остальные, так как оно зиждется не на логике, а на отрицании логики, когда речь идет о человеческих делах. Исая Берлин выразил этот взгляд в своем эссе с большой пронизательностью и с не меньшей убедительностью. Объяснив, что он в значительной степени согласен с моей позицией, он вставляет при этом одно "но":

"Но на свете... живет много людей, которые не согласны смотреть на жизнь как на радикальный выбор между двумя крайностями, и мы их отнюдь не осуждаем за это. "Из этого перекошенного человеческого ствола, — сказал один великий мыслитель, — еще ничего прямого получить не удалось". Восторженные умы, склонные искать спасение в религиозных или политических догмах, души, измученные ужасом, хотели бы, может быть, чтобы не было этих непоследовательных элементов, чтобы структура общества была более четкой. В этом отношении они истинные дети этого нового века, пытающегося тоталитарными своими системами установить именно такого рода порядок среди людей, тщательно отсортировать их и отнести каждого к соответствующей категории... Предъявлять претензии части населения только на том основании, что она воспринимается обществом как неуютный элемент, и требовать от нее, чтобы она либо отказалась от своих взглядов, либо убралась вон... — это своего рода мелкая тирания, в основе которой лежит убеждение, что люди не имеют права вести себя неразумно, непоследовательно или вульгарно, зато общество располагает правом пытаться избавиться, пусть гуманными путями, но все-таки избавиться от таких лиц, хотя они и не преступники, не умалишенные и не составляют решительно никакой опасности ни для жизни, ни для свободы сограждан. Этот образ мысли, сквозящий нередко в высказываниях вообще-то культурных и рассудительных людей, скверный образ мысли, так как он явно несовместим с сохранением той разумной, гуманной, "открытой" социальной структуры, в которой люди могут осуществить те свободы и те личные взаимоотношения, от которых единственно зависит всякая сносная жизнь в обществе".

Мистер Берлин смотрит так же скептически, как я, на возможность нормализовать общественный статус евреев, пока они будут упорствовать в том, чтобы называть себя евреями и чтобы так же называли их все остальные. Половина его эссе посвящена углубленному анализу психологических факторов, присущих еврейскому существованию и делающих антисемитизм в прошлом, настоящем и будущем — неизбежным. Он согласен также с тем, что возрождение государства Израиль ставит каждого отдельного еврея перед дилеммой. Он только выдвигает один простой довод: нельзя ждать от лю-

дей, не стоит также уговаривать их, чтобы они поступали логично, и что с иррациональным поведением приходится мириться, как бы оно нас ни раздражало и ни сердило.

Я полностью согласен с тем, что нет ничего неразумнее, чем рассчитывать на то, что люди поведут себя разумно. Но если вы отстаиваете для евреев право руководствоваться иррациональными эмоциями и вести себя "неразумно, непоследовательно или вульгарно", то вы обязаны признать то же право и за их противниками; вряд ли стоит напоминать вам результаты всего этого. А мне вот кажется, что если вы обладаете голосом и пером, то вы обязаны отстаивать ту линию поведения, которая, по вашему убеждению, служит интересам общества и таким образом может повлиять на непрочное равновесие между разумом и страстью в умах людей. Равным образом, мне кажется, как я уже говорил, что люди обладают неотъемлемым правом исковеркать свою собственную жизнь, но вовсе не вправе коверкать жизнь своих детей, потому что быть евреем как раз и означает жить исковерканной жизнью.

Давление тоталитарных сил как извне, так и изнутри нашей западной цивилизации вызвало среди либералов типа мистера Берлина тенденцию объявить любое проявление неблагодушия "тоталитарным". Если вы пытаетесь разобраться по правилам логики сложную ситуацию и указать на то, что здесь диктуется выбор между двумя альтернативными образами действия, вас тут же обвинят в том, что вы рисуете одними лишь черно-белыми красками. Для нормального функционирования демократического общества известная доля административной и идеологической неразберихи, какая-то доля беспорядка, действительно, столь же важны, как и предохранительные клапаны для машины. Однако жесткая, бесчеловечная четкость тоталитарных идеологий приводит к тому, что либеральное сознание склонно верить, будто предохранительные клапаны — и есть главное, а вот поршни, давление, энергия по самой своей сущности тоталитарны. Такие слова, как "проект", "планирование" и даже "порядок" получили какое-то омерзительное значение с тех самых пор, как на горизонте замаячили те или иные формы "нового порядка".

Вполне понятная человеческая слабость — склонность людей увиливать от принятия болезненных решений и ответственности — стала рассматриваться как добродетель, а, главное, — как сущность демократии. Отступающий либерал стремится не к свободе выбора, а к свободе от выбора. Если мои слова о том, что мы обязаны выбрать — относимся ли мы к избранному народу или к иной нации, если потрясает открытие, состоящее в том, что нельзя полакомиться пирогом и одновременно сохранить его в целости, если все это выдумка тоталитарного мозга, — тогда я должен сознаться в своей принадлежности к тоталитаризму. Если "из перекошенного человеческого ствола еще ничего прямого получить не удалось", все же, по-моему, честнее пытаться несколько выпрямить ствол, чем — ради одной этой милой кривизны — перекашивать его еще больше. Или, может быть, лучше следовать старой пословице: "Под угрозой и во лжи стой на месте и визжи"?

7.

В заключение я позволю себе привести последнюю страницу из "Обетования и исполнения":

"Отречься от иудаизма отнюдь не значит выбросить за борт вечные ценности еврейской традиции. Ее основные учения давным-давно слились с главным течением иудео-христианского наследия.

Если принадлежать к иудейской религии и за пределами Израиля, не наложив на своих последователей клеймо "обособленности" и не подвергнув их обвинению в двойной лояльности, — это должна быть такая система религиозных верований и космополитических нравственных принципов, которая бы была полностью свободна как от расовых предпосылок, так и национальной исключительности. Но еврейская религия, реформированная таким образом, лишилась бы своего специфического еврейского содержания.

Эти выводы, к которым пришел человек, поддерживавший сионистское движение в продолжение четверти века, но в культурном отношении принадлежащий к Западной Европе, обращены, главным образом, ко всем тем, — а их немало, — кто находится примерно в таком же положении. Они сделали все, что могли, чтобы обеспечить гавань бездомным жертвам предрассудков, насилия и политического предательства. Теперь, когда государство Израиль крепко стоит на но-

гах, они вольны, наконец, сделать то, чего раньше они делать не могли: пожелать ему всяческих успехов и пойти своим собственным путем вместе с той нацией, чью жизнь и культуру они считают своей, без всяких оговорок и двойных лояльностей.

Миссия странствующего жида завершена. Он должен сбросить с себя котомку и перестать содействовать собственному уничтожению. Дымки газовых камер все еще лижут небеса над Европой: когда-нибудь должен наступить конец всякой Голгофе".

Перевел с английского **МИХАИЛ ЛЕДЕР**

Статья переведена из книги THE TRAIL OF THE DINOSAUR AND OTHER ESSAYS; Collins st James's place, London, 1955.

ЖУРНАЛ "ЭХО"

Вышел в Париже и продается

второй расширенный номер ежеквартального литературного журнала "Эхо". Журнал редактируется В. Марамзиным и А. Хвостенко и посвящен современному литературному процессу в России.

Номер открывает фотография поэта И. Бродского и художника О. Целкова на венецианском Бьеннале и поздравление Бродскому по поводу присвоения ему степени доктора литературы Йельского университета.

Основна номера — повесть ленинградского писателя Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня". Почти весь номер составляют также рукописи из России, из самиздата: рассказ Генриха Шефа "Митина оглядка", большая подборка стихов Владимира Уфлянда, стихи Елены Шварц из самиздатского журнала "37", публикация самой значительной поэмы Александра Введенского "Кругом возможно Бог" со статьей Михаила Мейлаха.

Читайте, кроме того, рассказы Давида Дара и Сергея Юрьенена, стихи Леонида Ентина, статью Иосифа Бродского о поэте Константине Кавафисе с переводами из Кавафиса А. Лосева, письмо Брежневу Г. Вишневской и М. Ростроповича и др. материалы.

Продается во всех русских магазинах. Цена этого номера 20 франков.

Только в Европе: Условия подписки в редакции — 60 франков (4 номера).

Адрес редакции: "Echo" c/o V. Maramzine, 302 rue des Pyrenees, 75020 Paris.

"Диктатура обладает одной особенностью — она распространяется и на диктаторов".

А. Белингов
(Журнал "Новый колокол", Лондон, 1972, стр. 430)



Дора ШТУРМАН

ПОБЕДА И КРУШЕНИЕ ЛЕНИНА

2. БУНТ И ОТЧАЯНИЕ

Последний год деятельности Ленина был тягчайшим для него годом не только из-за определившейся к концу этого года личной зависимости его от людей, которых он привык вести за собой. И его приближенные не только ради психологического реванша так легко лишили его своей поддержки. Они и раньше чувствовали и его высокомерие, и его властность, и его сухость, и его непостоянство как товарища, — зависимость его личного отношения к людям только от их отношения к его политике, — но шли за ним.

Троцкий еще в 1900 годах оценивал его и его тактику не менее прозорливо, чем Мартов, но летом 1917 года тоже пошел за ним. "Надличностная", так сказать, основа общего предательства ими Ленина в 1922—1923 годах состояла в том, что Ленин утратил в их глазах ценность как незаменимый ранее генератор решений их общих задач. Они, вероятно, относили это только за счет его физического угасания так же, как и он, все свои административные неудачи относил за счет неумелости исполнителей. Однако, и он и они ошибались.

Окончание. Начало см. в 32 номере журнала.

Ведя свою партию к власти, Ленин так хорошо умел разрушать, провоцировать, уничтожать, маневрировать в поисках наилучшего тактического хода и, главное, побеждать, что и он сам, и его сторонники не сомневались в его столь же уникальном умении строить.

Но после более или менее полной стратегической победы, когда на Ленина всей тяжестью навалились завоеванные им для себя и партии полномочия, оказалось, что странные свойства химеры, которую он создал, застали его врасплох. Ни Маркс, ни Энгельс, ни его собственное воображение не подготовили его к успешной реализации этой поистине небывалой в истории государства российского власти.

С одной стороны, как всякий опытный руководитель, Ленин знает, что секрет успешного управления связан с необходимостью обзирать, направлять и вовремя корректировать все движения управляемого объекта. Он уверен, что этот секрет постижим. Привычный радикализм мышления, привычный однолинейный детерминизм социальной логики Ленина не позволяют ему рассуждать иначе. К чему тогда было бы все, на что он шел до сих пор?

Он не хочет отказаться от веры, что в принципе организованное решение надвинувшихся на него новых задач возможно. С другой стороны, он не может этого решения найти. Он физически задыхается от мизерности, от неправимого запаздывания, от ненадежности доступных ему крох понимания происходящего. Он не знает, как извлечь необходимые ему сведения из необозримого лабиринта отношений и дел, которым он взялся командовать. А лабиринт еще и непрерывно "дрейфует" во всех своих бесчисленных частностях. И сопротивляется тому, что Ленин считает разумным и необходимым.

Осаждаемый незнакомыми раньше задачами и упорно пытаюсь решать их привычными радикальными мерами, Ленин уподобляется человеку, плывущему против течения в грязевом потоке. Блестящий самосохранительный вираж НЭПа, который спас партию, ослабил напряжение ненадолго, потому что и новая экономика должна была, по замыслу Ле-

нина, быть регулируемой и управляемой. Задач стало не меньше, а больше.

Инстинктивно нащупав главный момент задачи, но не понимая, что он-то и делает ее невыполнимой, Ленин упрямо требует от своих аппаратов сведений, сведений и сведений.

Кроме ежемесячного "числа-показателя", рассчитанного на основании нескольких главных данных и призванного охарактеризовать хозяйственно-организационное состояние огромной, взбаламученной непрерывной семилетней войной страны, от ЦСУ требуются также:

" 1. Ежемесячные сводки о распределении продовольствия государством.

2. Ежемесячные сводки о предприятиях, переводимых на коллективное снабжение.

3. ...Определение количества произведенных продуктов, притом самых важных.

4. Производство, распределение, потребление топлива. Абсолютно необходимо ежемесячно в итогах...

5. Ежемесячные сводки о товарообмене...

6. ...Если не ежемесячно, то раз в 2—3 месяца абсолютно необходимы сводки хотя бы для начала о "наличных штатах" в сравнении с довоенными или с штатами других ведомств, других губерний...

7. Выборка, для изучения, не б о л ь ш о г о числа типичных предприятий (фабрик, совхозов) и учреждений (а) наилучших—образцовых; (б) средних и (с) наихудших..."*

То, что мы процитировали, далеко не исчерпывает ленинских ежемесячных требований, предъявляемых ЦСУ.

Разумеется, рассчитать чудодейственное "число-показатель" никаким инстанциям не удастся. И никакой ежемесячный "балл поведения" всего общества, выработанный ЦСУ или Госпланом и положенный на стол Ленина, не вооружил бы его отчетливым представлением обо всей массе процессов, стоящих за этим баллом. А для того, чтобы регулировать эти процессы с той степенью верховного произвола, которого жаждал Ленин, надо было знать обо всех все. Мог ли Ленин хотя бы подозревать, что встретится с таким затруднением? Несомненно. Работы "ученнейшего дурачка" Спенсера (Ленин), широко обсуждавшиеся в России с пяти-

* Ленин. Соч. Изд. IV, т. 33, стр. 12-14.

десятих годов прошлого века, убедительнейше предсказывали затруднения победившего социализма.

"Ренегат" и "оппортунист" Э. Бернштейн, "парламентский кретин" Каутский (Ленин), "Иуда" Струве (кличка, под которой иногда фигурирует П.Б. Струве в конспиративной переписке Ленина) и другие современники Ленина опередили многие фундаментальные выводы современной науки об управлении.

Ленин обвинял их в продажности, в тупоумии, в непонимании Маркса и отмахивался от их корректных и доказательных соображений, как от назойливых оводов. Теперь ему очень трудно, — тем более, что одновременно с попытками наладить хоть мало-мальски удовлетворительную отчетность, он санкционирует составление плана дальнейшей хозяйственной деятельности советской власти.

Чтобы хоть как-то проиллюстрировать масштабы задач, возникающих перед государственной властью, уничтожившей с в о б о д н ы й рынок, приведу свидетельство современного советского экономиста: "...Специалисты нашего института однажды проделали любопытный расчет. Они высчитали количество операций, которые необходимо было бы произвести, чтобы составить... детализированный оптимальный план для двух тысяч объектов. Оказалось, что он потребовал бы от лучшей советской машины БЭСМ—6 — ни мало ни много — тридцати тысяч лет непрерывной работы"*.

Мудрено ли, что в гневе, граничащем с отчаянием, Ленин, намеренный было обеспечить "прозрачную ясность" новых экономических отношений с помощью "четыре х дей ст в и й а р и ф м е т и к и", теперь пишет:

"...Не тот подход к теме. Вредный подход. Тошнит всех от общих фраз. Они плодят бюрократизм и поощряют его.

...Бюрократизм потому нас и душит, что мы все еще играем в "директивы в декретном порядке"*.**

Или:

"...Такая печальная штука эти декреты, — которые подписываются, а потом нами самими забываются и нами самими не исполняются."****

* Н.Т. Федоренко, "Научно-техническая революция и управление", журнал "Новый мир" № 10, 1970.

** Ленин. Соч. Изд. IV, т. 33, стр. 213.

***Там же, т. 32, стр. 4.

Итак, виноват в неспособности новой власти предопределить все движения гигантской машины бюрократизм. Между тем и сам Ленин, будучи не в силах придумать ничего, кроме "беспомощных общих фраз" и "печальных декретов", энергичнейше насаждает бюрократизм:

"РУКОВОДИТЕЛЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Уважаемый товарищ!

Раз навсегда необходимо положить конец безобразию волокиты и канцелярщины в вашем учреждении. Важные и срочные дела, направляемые к вам приемной СНК в видах разрешения многочисленных жалоб, заявлений на имя СНК и его Председателя, сплошь и рядом остаются без ответа и исполнения.

Предлагаю немедленно подтянуться. Машина советской администрации должна работать аккуратно, четко, быстро. От ее расхлябанности не только страдают интересы частных лиц, но и все дело управления принимает характер мнимый, прозрачный..." (Разрядка наша) *.

Последняя фраза великолепна в своей достоверности. Стилистически несовместимая с остальным текстом письма, одного из классических образцов советского бюрократического пустословия, она отлично передает настроение Ленина.

В апреле 1922 года Ленин уходит в отпуск по болезни. Как всегда в таких случаях, он пытается расписать наперед каждый шаг своих заместителей. С удивительной непоследовательностью он поручает им выполнить все те дела, которые они не выполняли при нем, вместе с ним. Отрывок, который приведен ниже, как нельзя более характерен для ленинских директивных писем последних месяцев его деятельности: их автор словно спешит взвалить на плечи остающихся у руля все то, чего не в состоянии сделать сам.

Так например, ведению т. Цюрупы подлежат: НКЗем, НКПС, ВСНХ, НКПочтель, НКЮст, НКВД, НКНац, НКПрос, а ведению т. Рыкова подлежат НКФ, НКВТ, Комиссия по внутренней торговле, Центросоюз, НКТруд (и ВЦСПС в части), НКСобес, НКПрод, НКВоен, НКИДел, НКЗдрав, ЦСУ, Областные экосо, Концессионный комитет, Госплан**.

* Ленин. ПСС. Изд. У, т. 54.

**Там же, т. 45, стр. 156 и далее.

Здесь приведен лишь небольшой отрывок из ленинской директивы "замам", содержащей тридцать один пункт. Попробовав отделить только наиболее конкретные поручения, возложенные непосредственно на Цюрупу и Рыкова, и прикинув, сколько примерно времени требуется для их выполнения, мы получили цифру порядка 48 часов в сутки на каждого. Сообщаю об этом, чтобы подчеркнуть "реализм" административного мышления Ленина 1922 года. Недаром ленинскую директиву "замам" почти откровенно высмеял Троцкий в своих замечаниях по ее поводу.

Заметим, однако, что среди трех десятков пунктов ленинского "Постановления" есть один технологически реальный пункт и притом, как мы увидим несколько ниже, весьма характерный для ленинских методов руководства :

"24. Замы должны стараться применять чаще, чем прежде, наложение административного взыскания своей личной властью (ускорить законопроект на эту тему, подготовленный тов. Цюрупой) за бюрократизм, волокиту, неисполнительность, неаккуратность и т.д. В случаях вины более значительной необходимо отстранение от должности, предание суду, постановка через НКЮст демонстративных, ярких процессов".

Время от времени Ленин сосредоточивает все свои надежды на Наркомате рабоче-крестьянской инспекции. Почему ему кажется, что РКИ справится с тем, с чем не справляется ни одна другая инстанция, непонятно.

Задачи, возлагаемые им на Рабкрин, сходны по степени их выполнимости с требованиями, предъявляемыми Лениным ЦСУ и Госплану: Рабкрин должен "не столько "ловить", "изобличать" (это задача суда, с которым Рабкрин соприкасается близко, но отнюдь не тождествен), — сколько уметь поправить. Умелое исправление вовремя — вот главная задача Рабкрин". Для выполнения этой задачи Рабкрин должен изучить ведение дела в каждом "советском" учреждении, поставить образцово отчетность в них, выработать "приемы постановки отчетности, приемы кары за

недочеты, приемы "ловли" за обман, приемы проверки исполнения"*.

Если читатель думает, что рабоче-крестьянская инспекция была при Ленине, действительно, низовой, народной контролирующей инстанцией, он заблуждается.

Не закономерно ли, что разочарования, которые Ленину приносит Рабкрин, сравнимы лишь с той не фигурально, а математически необъятной работой, которую он пытается на Рабкрин взвалить:

"...Исполнил ли свою задачу и свой долг Рабкрин? Правильно ли он понял свою задачу? (Разрядка Ленина). Вот в чем главный вопрос. И на этот вопрос приходится отвечать отрицательно.

...Как надо сие зло исправить? Я даже приблизительно не знаю этого. Рабкрин должен знать, ибо его дело изучать сие, — сопоставлять разные ведомства, — вносить разные практические предложения, — проверять их на опыте и т. д..." (Разрядка наша.) **

Бессилие найти способы организационного овладения огромной, вырывающейся из рук машиной приводит Ленина в злое и нескрываемое отчаяние:

"Наша проклятая бюрократическая машина"; "наши гнусные нравы (с претензией на "истинный коммунизм")"; "бюрократическое тупоумие"; "прозевали, проспали, дождались, как настоящая чиндральская сволочь приказа "начальства".

"Волокита возмутительная. Работа НКПС из рук вон плоха!" "...Система коммунистических дурачков, имеющих власть и не умеющих ею пользоваться..." "А у нас, видимо, торговый отдел Госбанка вовсе не "торговый", а такой же говенно-бюрократический, как все остальное в РСФСР..."

"...Мы не умеем гласно судить за поганую волокиту: за это нас всех и Н.К. Юст сугубо надо вешать на вонючих веревках. И я еще не потерял надежды, что нас когда-нибудь за это поделом повесят..."***

Эти и сходные филиппики против бюрократизма толкают к созданию (точней — к подтверждению) иконописного образа Ленина-правдолюбца, Ленина-гонителя злонамеренных бюрократов, который так дорог благонамеренной коммунистической оппозиции современному советизму.

* Ленин, ПСС. Изд. V, т. 45, "К вопросу о задачах Рабкрина, их понимании и их исполнении".

** Ленин. Соч. Изд. IV, т. 33, стр. 21-25.

*** Ленин. Соч. Изд. III, т. 29, стр. 415, док. № 207.

Но не будем спешить. Непреложные документы свидетельствуют, что призывы — не отступать перед "голой правдой" (там же) — имеют — один к одному — такой же смысл, как бесчисленные более поздние разглагольствования советских руководителей о живительной силе критики и самокритики. На все попытки окружающих хотя бы намеком привлечь внимание Ленина к общим истокам того, что он предпочитает называть "волоkitой" или "бюрократизмом", следует один непреклонный и чуждый всяких сомнений ответ; если вы и впредь намерены отговариваться от делового подхода к вопросу какими-то "общими" соображениями, "то я вас обвиняю еще и в пессимизме насчет советской власти".

И если кто бы то ни было (лидер "рабочей оппозиции" Шляпников, или языкатые "демократические централисты", или кто-то вне партии) осмеливается затронуть в своем стремлении к "голой правде" вопросы общие, ответ для всех одинаков: "...Мы на это отвечаем: "Позвольте поставить вас за это к стенке. Либо вы потрудитесь от высказывания ваших взглядов воздержаться, либо, если вы желаете свои политические взгляды высказывать при настоящем положении... то, извините, мы с вами будем обращаться, как с худшими и вреднейшими элементами белогвардейщины."*

Да что там партийные вольнодумцы и меньшевики, если сам нарком юстиции Курский не избегает ленинского нагоня за излишнее правдолюбие! Третьего сентября 1921 года Ленин написал Курскому письмо с требованием поскорее дать ход заявлению профессора Графтио** с жалобой на волокиту в московских учреждениях. Не войдя в суть жалобы Графтио, не занимаясь ее расследованием, Ленин дает Курскому "пять заданий":

"1) поставить это дело на суд;

2) добиться ошельмования виновных и в прессе и строгим наказанием;

3) подтянуть судей через ЦК, чтобы карали волокиту строже;

* Ленин. Соч. Изд. IV, т. 33, стр. 253.

** Известный энергетик.

4) устроить совещание московских народных судей, членов трибуналов и т.п. для выработки успешных мер борьбы с волокитой;

5) обязательно этой осенью и зимой 1921-22 гг. поставить на суд в Москве 4-6 дел о московской волоките, подобрав случаи "поярче" и сделав из каждого суда политическое дело..."*

Вот и "плановые" процессы сталинской эры с их априори обвинительными приговорами...

Нужно "подобрать случаи поярче" и сделать "из каждого суда политическое дело", а виновность или невиновность героев спектакля — вопрос второстепенный. Когда Ленину пытаются доказать, что суть не в злом умысле "волокитчиков", а в "организационных дефектах" системы, он требует "примерно сурового" наказания "как раз ответственных виновников этих организационных дефектов", не понимая, что один из "ответственных виновников" спит на Хайгетском кладбище, а другой — диктует это письмо.

Невозможность овладеть ситуацией с помощью организационных приемов все чаще и чаще толкает Ленина к применению чисто насильственных мер в различных сферах гражданского администрирования. Собственно говоря, после октябрьского переворота и гражданской войны ничего нового в этих мерах для Ленина нет. Я хочу подчеркнуть другое: сила, которая не может добиться своих целей мирными средствами и при этом не хочет отказываться от своего положения единственной решающей силы, должна неизбежно обратиться к террору. В этом смысле Ленин стал на путь, для его партии — неотвратимый, поскольку, не будучи в состоянии выполнить свои дореволюционные обещания и намерения, РКП (б) не собиралась уступать кому-либо власть.

Вот какими способами, например, Ленин пытается регулировать успехи науки:

"31.III1922г.

С. секретно

В Наркомюст, тов. Курскому.

Копил тов. Крыленко

По моему поручению бывшей МЧК было начато расследование по делу преступной халатности, волокиты и бездеятельности в Науч-

* Ленин. Соч. Изд. IV, т. 35, стр. 444.

но-техническом отделе и Комитете по делам изобретений.

Результаты расследования были представлены в Мосревтрибунал, который вместо того, чтобы по существу рассмотреть это дело, выявить и наказать виновных... — чрезвычайно покровительственно отнесся к обвиняемым, судил без обвинителя и в конце концов признал обвинение недоказанным и всех виновных оправдал.

Прошу Вас лично ознакомиться с этим делом, сугубо внимательно к нему отнестись, постараться совместно с РКИ собрать дополнительные материалы о деятельности этих учреждений, если нужно назначить по соглашению с тов. Аванесовым ревизию — не из чиновников и слюнтяев, а из людей, которые действительно сумеют как следует обревизовать, добыть нужные материалы и найти виновных. Нужно в Ревтрибунале поставить политический процесс (с привлечением для печати т. Соновского), который как следует перетряхнул бы это "научное" болото. (Разрядка наша).

Мосревтрибуналу за послабление и формальное бюрократическое отношение к делу предлагаю объявить строгий выговор.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В.Ульянов (Ленин) *

Лишенный из-за отсутствия гласности и свободы печати (им же самим и установленной) возможности что-либо знать об истинных взглядах и настроениях своих подданных, Ленин пытается возместить это неведение полицейской слежкой за интеллигенцией: " т. Дзержинский! ..Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, доложить исполнение, требуя письменных отзывов, и добиться присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий...

Собрать систематические сведения о фактическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей"***.

Ленин и здесь выводит советскую власть на единственно ей доступный путь взаимоотношений с инакомыслящими. Отсюда идут и чекагебистские "досье" на "неблагонадежных" писателей, и "кураторы" идеологических учреждений с плохо скрытой военной выправкой...

Наследие Ленина решительно опровергает легенду о том, что НЭП и на самом деле раскрепощал свободную инициати-

* Ленин. ПСС. Изд. V, т. 54, стр. 220-221.

** Там же, стр. 265.

ву. На какое-то время убеждение Ленина в том, что частная собственность не может не быть беспомощней собственности социалистической (сиречь государственной), подсказывает ему идею их относительно свободного соревнования. Однако в 1922 году ход этого соревнования стал уже очевидным, и Ленин опять начинает отдавать предпочтение силовым приемам в области хозяйственных отношений.

"...Говорят, в Смоленской губернии частный капитал по бил кооперацию, довел до закрытия.

А суд за незаконную торговлю?

А пошлины за частную торговлю? и т.д. и т.п.

Тоже все проспали советские бюрократы?..

"...Обдуманы ли формы и способы ответственности членов правлений трестов за неправильную отчетность и за убыточное ведение дела? Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жестока и кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов новой жестокости кар".**

Как только выяснилось, что, кроме принуждения и запретов, нет у Ленина универсальных приемов управления, его личная ценность для "внутренней партии"*** резко упала. Способность возглавлять террор и дезинформацию — в отличие от способности генерировать оригинальные и действенные решения сложных задач — не такое уж редкое качество для людей с лидерскими наклонностями.

Ленин-тактик — поистине редкое политическое явление. Ленин-диктатор ничем выдающимся в ряду прочих диктаторов не отличается. Ему решительно не хватает выдержки и энергии. Он болен, стареет, нервничает, раздражается, дает невыполнимые указания, сплошь и рядом обращает свое раздражение против ближайших соратников и даже против себя самого. Понимание его нарастающей беспомощности со стороны его окружения проявилось к осени 1922 года достаточно определенно. Иронические замечания Троцкого по поводу "Постановления о работе "замов" или ленинских писем

* Ленин. ПСС, Изд. V, т. 54, стр. 160.

** Там же.

*** Дж. Орвелл, "1984-й".

о Рабкрине*, реакция партийных острословов и вольнодумцев, вроде Рязанова и Ларина, на доклад Ленина на XI съезде РКП (б) **.

Я не хочу сказать, что оппоненты Ленина — иногда явные, иногда уклончивые — предлагали какие-то эффективные альтернативы его беспомощным распоряжениям. Когда их предложения располагались в границах последовательного большевизма, они ничем принципиально не отличались от ленинских. Когда в таких контрпредложениях имелось нечто всерьез неленинское (как, например, в выступлении Г. Мясникова, требовавшего свободы печати, или в платформе РОПП, добивавшейся приоритета рабочих союзов над партией), то они непосредственно или косвенно ослабляли диктатуру РКП (б). Но, если кому-нибудь кажется, что сам Ленин унес с собой какие-то спасительные рецепты и что именно из-за наличия у него этих рецептов он был изолирован Сталиным от партии во время болезни, то это не более, чем иллюзия. Все дело в том, что рецептов, которые бы позволили кому-нибудь зачеркнуть кавычки вокруг построенной Лениным "диктатуры пролетариата", нет не только у Ленина, но и у Маркса.

В 1922 году "неумение", "нежелание", "неспособность" людей и организаций выполнять ленинские требования и советы, соответствовать его ожиданиям и прогнозам все чаще вызывают у Ленина досаду и недоверие не только к отдельным лицам и учреждениям, но и к одному слою советского общества за другим. До революции его опорой, его Мессией,местилищем всех надежд человечества был в его пропагандистских произведениях пролетариат. Теперь и рабочие, то бастующие, то отстаивающие независимость профсоюзов, оказываются классом ненадежным и недоброкачественным.

* Примечания к тому 27 изд. III сочинений Ленина.

** По словам Ларина, делегатов обрадовало выздоровление Ленина и появление его на съезде, но не его выступления, в общем, бессодержательные, в чем Ларин прав; патетические обличения ленинских действий партийными ортодоксами типа Шляпникова на X и XI съездах РКП (б) - оценки Ленина, присутствующие в этих документах эпохи, не слишком для него лестны.

"Разве знает каждый рабочий, как управлять государством? Практические люди знают, что это сказки"*. **"Наш пролетариат в большей части своей деклассирован"***.**

Тем не менее в последних своих работах и письмах, ища способов предупредить окончательное бюрократическое перерождение власти, он опять пытается ухватиться за идейное первородство пролетариата. Он предлагает расширить ЦК и ЦКК, вводя туда рабочих. Но рекомендовать этих рабочих должны проверенные (?) коммунисты, а о коммунистах он пишет следующее:

"...Если народ, который завоевал, культурнее народа побежденно-го, то он навязывает ему свою культуру, а если наоборот, то бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Не вышло ли нечто подобное в столице РСФСР и не получилось ли тут так, что 4700 коммунистов (почти целая дивизия, и все самые лучшие) не оказались ли подчиненными чужой культуре? Правда, тут может как будто получиться впечатление, что у побежденных есть высокая культура. Ничего подобного. Культура у них мизерная, ничтожная, но все же она больше, чем у нас. Как она ни жалка, как ни мизерна, но она больше, чем у наших ответственных работников-коммунистов"**.**

Как же они могут руководить?

Стремясь обеспечить надежность руководящих работников и коммунистов, Ленин громоздит один этаж рекомендателей над другим. Но, когда, тяжелейше больной, он диктует свое знаменитое "Завещание", вызвавшее столько пересудов и толков, оказывается, что и на самой вершине партийной элиты он не обнаруживает для себя ни одного безоговорочного надежного преемника. Кто же должен рекомендовать и за кого ручаться? Ведь в конечном счете, при движении снизу вверх и обратно, вся цепь: от пролетариев, которые должны проверять, направлять и контролировать высочайшие коммунистические инстанции, и до этих инстанций, которые должны рекомендовать пролетариев для такого контроля, — не имеет ни одного звена, вызы-

* Ленин. Соч. Изд. IV, т. 32, стр. 40

**Там же, стр. 176, разрядка наша.

***Там же, т. 33, стр. 258-259.

вающего доверие Ленина. Снизу и доверху она состоит из неполноценного материала. А мы говорим о сталинской подозрительности...

Живучесть мифа о справедливом Ленине, подкрепленно-го свидетельствами о Ленине обиженном и скорбящем, поистине удивительна. Один из зачинателей правозащитного движения в СССР генерал П.Г.Григоренко в 1963 году основал Союз борьбы за возрождение ленинизма (как будто ленинизм в СССР когда-нибудь умирал). С тех пор он ни в СССР, ни на Западе ничего не сказал об изменении своего отношения к Ленину. Благородное имя П.Г.Григоренко — человека, чуть было не растоптанного физически ленинским отношением к праву, личному и государственному, — продолжает обелять угрожающую легенду. Стараниями Р.А.Медведева и других, к Ленину справедливому и Ленину скорбящему, прибавился еще и Ленин со связанными руками и кляпом во рту.

Разумеется, читать и цитировать Самиздат куда интересней, чем рыться в книгах, которые стоят на всех полках казенных библиотек. Но когда этих книг не читают люди, обязанные читать по роду своей литературной специализации, возникает законное недоумение.

Р.А. Медведев пишет:

"Обострившиеся разногласия внутри ЦК и происходившая здесь явная и тайная борьба за власть, грозившая расколом партии, очень волновали В.И.Ленина, в состоянии здоровья которого летом и осенью 1923 года произошли заметные улучшения. ...Ленин в эти месяцы встречался со многими людьми, но он не хотел приглашать к себе не только Сталина, но и других членов Политбюро. По свидетельству Н.К.Крупской, это было бы ему "непосильно тяжело". Как рассказывает в неопубликованной части своих мемуаров Е.Драбкина, Ленин часами сидел в одиночестве и часто плакал, видимо, не только от бессилия, но и от обиды"**.

Картина получается трогательная и впечатляющая. Когда больной пожилой человек часами сидит в одиночестве и плачет, его жалко.

*Альманах "XX век" № 2, Лондон.

Но человек, которого нам жалко, писал о жалости:

"Мы должны сказать, что должны погибнуть либо те, кто хотел погубить нас и о ком мы считаем, что он должен погибнуть, — и тогда останется жить наша Советская республика, — либо наоборот, останутся жить капиталисты и погибнет республика."

Сентиментальность есть не меньшее преступление, чем на войне шкурничество. Тот, кто отступает теперь от порядка дисциплины, тот впускает врагов в свою среду". (Разрядканаша)*.

Ленин употребляет слово "сентиментальность" не точно, ибо он имеет в виду не собственно "сентиментальность" (поверхностную квазичувствительность), а жалость. Это следует из полного текста его многократных нападок на "сентиментальность" и сарказмов по поводу "сентиментальных интеллигентов".

Афоризм Ленина о сентиментальности можно ведь и несколько перефразировать: "Сентиментальность на войне — такое же преступление, как и шкурничество". А коммунизм (марксизм-ленинизм) определил с 1848 года свой путь как состояние перманентной войны против всемирного капитализма. Ленин успел в этой войне только поставить РКП (б) в положение колонизатора своей же страны. Сталину предстояло эту колонизацию сделать тотальной. Мощь развернутого ими террора мера не только их личных и партийных качеств, но и мера сопротивления, оказываемого "материалом" — страной.

Ленин уничтожил или вытеснил за границу высшие классы и часть несогласной с ним интеллигенции. Сталину предстояло частью уничтожить — частью закрепить крестьянство, всю остальную интеллигенцию, первый состав партии и вообще всю страну, ибо сопротивление диктатуре неизменно активизировалось, как только ее сверхтяжелый пресс хоть сколько-нибудь приподымался. Почему же Сталин должен был относиться к сентиментальности иначе, чем Ленин? Разве его сверхзадача была проще ленинской? Разве это была не одна и та же задача? Ленин чуть было не сорвал победу Кремля над Грузией, когда с демагогической сентименталь-

*Ленин. Соч. Изд. IV, т. 33, стр. 48.

ностью пытался использовать хулиганскую выходку Орджоникидзе в своей борьбе против Сталина. Ленин "сентиментально" поставил на карту самое, казалось бы, для него главное, — единство партии, — когда Сталин блокировал его, а потом обидел его жену. Он был поразительно непоследователен, когда в записке "К вопросу о национальностях или об автономизации" писал:

"...Если дело дошло до того, что Орджоникидзе мог зарваться до применения физического насилия, о чем мне сообщил тов. Дзержинский, то можно себе представить, в какое болото мы слетели. Видимо, вся эта затея "автономизации" в корне была неверна и несвоевременна"*

Он непоследователен здесь потому, что рукоприкладство Орджоникидзе в грузинском ЦК — жалкая капля в том океане насилия, который опрокинул на Россию и откровенно мечтал опрокинуть на весь мир Ленин. И если размах примененного насилия означает, как он пишет, одновременно и меру неправоты насильника, то, осуждая Орджоникидзе, Ленин подписывает приговор себе самому.

Ибо какие пощечины могут сравниться с таким приказом:

"Членам Совета Оборона"

Хлеб перестал подвозиться. Чтобы спастись, нужны меры, действительно, экстренные. ...Наличный хлебный паек уменьшить для не работающих по транспорту; увеличить для работающих. Пусть погибнут еще тысячи, но страна будет спасена" (Разрядканаша).**

Сопоставьте это "чтобы спастись" с заключительным "но страна будет спасена" и вы увидите, что "страна" в данном контексте означает лишь диктатуру большевиков, ибо хлеб надо любой ценой доставить в голодающую Москву, где толпы голодных могут припомнить свой опыт февраля 1917 года. Таких примеров в наследии Ленина — без преувеличения — десятки.

Разумеется, вероломство соратников и несправедливость судьбы по отношению к "себе, любимому" (Маяковский)

* Ленин. ПСС. Изд. V, т. 45, стр. 356-352.

** Ленин. Соч. Изд. III, т. 29, стр. 390.

Ленин, как большинство людей, воспринимает несравнимо болезненней, чем все то, что он сам предпринял против других людей.

Для того, чтобы Ленин понял, как милостива была к нему судьба, как умеренно был он обижен еще не развернувшимся Сталиным, как не отлились ему чужие слезы и кровь, перед ним следовало бы прокрутить фильм со смертями всех его ближайших сподвижников (смерть миллионов других людей его могла бы не взволновать: он воспринял бы ее как абстракцию). Его надо бы провести за его "гвардейцами" по кабинетам, камерам и подвалам московских и ленинградских застенков. Тогда его перестало бы угнетать уютное подмосковное поместье Горки с просторным особняком и парком вокруг. Он оценил бы преданные заботы близких, возможность часами сидеть в одиночестве и лелеять свои обиды...

Когда Сталин понял, что Ленин больше не может сопротивляться его вкрадчивому и неотступному натиску и что за Ленина с ним никто воевать не будет, Ленин как лицо для него превратился в нуль. Так же и для всех остальных вчерашних "гвардейцев" Ленина, пока еще со Сталиным почти равноправных. Что им всем за дело стало до немного беспомощного полупаралитика, еще воюющего со смертью? Через Владимира Ульянова они дружно переступили, и он остался умирать в одиночестве. Но Ленин повел их дальше. И каждый из них старался сделать его только своим достоянием. Они колотили друг друга по головам его высказываниями. Они развесили в своих кабинетах его портреты. Они построили мавзолей и положили там для всеобщего обозрения его мумию. Они сделали его и его деяния одним из главных предметов советского изобразительного и всех прочих искусств. Одареннейший тактик и политический интриган, блестящий демагог-агитатор, удачливый диверсант и колонизатор в родной стране, но заурядный и непосредовательный в конце жизни диктатор, он воскрес в их легенде лишенным слабостей. Возник прочный положительный штамп — "ленинский стиль руководства". Им одинаково широко оперировали и оперируют и Сталин, и его против-

ники, и Хрущев, и Брежнев, и, главное, все прокоммунистические оппозиции против ленинской партократии, вплоть до нынешних "новых левых". Только тотальная нечитаемость литературы такого рода, как сочинения Ленина или стенограммы партийных съездов, не позволяет ни одной из сторон и по сей день почувствовать убийственной ироничности этого штампа.

Победил Ленин в непрестанной борьбе всей своей жизни или потерпел поражение?

Ответ на этот вопрос мог бы дать сегодня только сам Ленин. Все зависит здесь от того, каков был истинный, самый глубокий, интимный стимул его борьбы.

О Ленине, сколько ни вчитывайся в его сочинения, не скажешь (как можно сказать о его преемнике), что ему было решительно наплевать на все, кроме личной власти или кроме сохранения партократии. Если бы последнее было верно, то это значило бы, что, несмотря на финал его жизни, который, по личному его ощущению, был, конечно, трагичен, Ленин одержал одну из грандиознейших политических побед в истории. Но если для него — в самом последнем и личном счете — не утратили смысла исходные побуждения его молодости, если он и в самом деле надеялся как-то, когда-то, в расплывчатом и неопределенном "далеко", ошастливить человечество, то он потерпел величайшее и непоправимое поражение.

АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН

Редколлегия журнала "Время и мы" с глубокой скорбью сообщает о трагической смерти нашего автора, талантливого критика и журналиста, видного участника правозащитного движения АНАТОЛИЯ ЯКОБСОНА.

На этот раз участники "Круглого стола" обсуждали статью Л. Геллера "Мироздание Ивана Ефремова" (N24, 1977). Дискуссии, в ходе которой были затронуты многие социально-философские вопросы, вышла далеко за рамки творчества Ефремова.



М. Агурский



М. Каганская



Р. Нудельман



Г. Келлерман



С. Гринберг

СПОР О ИВАНЕ ЕФРЕМОВЕ

Круглый стол редакции

Агурский. Когда я прочитал статью Л. Геллера, у меня возникло чувство неудовлетворенности. Автор дает совершенно неправильную интерпретацию теософской концепции Ивана Ефремова, четко сформулированную им в романе "Лезвие бритвы". Л. Геллер показал И. Ефремова атеистом и антихристианином. Но он и словом не обмолвился о том, что вся концепция истории у Ефремова основывается на неприятии ценностей современной западной цивилизации. Ефремов считает, что человечество в течение 15—20 веков находилось в историческом тупике. Более того, эти 15—20 веков вообще вычеркнуты из истории только потому, что человечество, поддавшись искушению, поверило в еврейский миф о первородном грехе. Таким образом, концепция истории Ефремова по существу строится на антисемитизме какого-то онтологического типа. Ефремов считает, что евреи являются едва ли не источником мирового зла в течение очень длительного промежутка времени.

Каганская. Что касается статьи Геллера, то мне кажется, что она поверхностна и симптоматична. Она оставляет очень приятную для многих иллюзию, что все, что антисоветское или, как минимум, антиофициозное, обязательно содержит в себе некий положительный фактор. Автор обнаружил у Ефремова некоторые расхождения взглядов с официальной догматикой, за что и выставил Ефремову большой плюс. Эта точка зрения для меня принципиально неприемлема, потому что дело не в том, как кто относится к советской власти, и даже не в самом расхождении с ней. Самое главное — в чем это расхождение с догматикой. С этой точки зрения, хочу сказать сразу, что никогда не принадлежала к поклонникам Ефремова, которого запоем читало все мое поколение. Как писатель, он, безусловно, с бульварным привкусом, рассчитан, что называется, на массового читателя. Несколько позднее я поняла, что именно в этой массовости его произведений и таится очень большая опасность. Вся система его взглядов, его мировоззрение — опасны, и тем более опасны, что круг его идей становится в России весьма перспективным. Я, например, сопоставляю упомянутую здесь ефремовскую историософскую концепцию с одной из листовок небезызвестного Ивана Самолвина, где буквально сказано, что, только обратившись к своим исконным, почвенным богам, человечество выбрело на светлую дорогу из иудейско-христианских сумерек. Но Ефремов будет очень перспективным писателем, и его круг идей, как мне представляется, будет захватывать все более и более широкие русские массы.

Нудельман. Прежде всего я бы хотел самым решительным образом возразить против того, чтобы сводить всю концепцию ефремовской фантастики только к антисемитизму, хотя и "онтологическому". Мир вовсе не делится только по своему отношению к евреям, как нам иногда из-за нашей чрезмерной чувствительности кажется. Люди не делятся исключительно на филосемитов и антисемитов. Я думаю, что это негодный критерий. Конечно, всякую проблему мира можно рассматривать как еврейскую. Однако неверно обратное: не всякую еврейскую проблему нужно немедленно возводить

в ранг всемирной. Мы неизбежно упрощаем взгляды и концепции людей, как только начинаем подходить к ним с этим узким критерием: а как автор относится к евреям? Конечно, в концепцию Ефремова еврейство входит. В "Лезвии бритвы" он ни разу не упоминает о христианстве и христианской культуре, чтобы не сказать тут же о еврейском источнике христианства. Правда, он очень смешно об этом упоминает: вот-де, еврейские пророки жили под раскаленным солнцем, и поэтому у них возникли "дикие" идеи насчет ада, а его любимые крито-индийцы, которых он придумал для обоснования своей концепции истории, жили, значит, в умеренном климате, и у них на этот счет все было в порядке. Но это и все, что связывает концепцию Ефремова с еврейством. Острие его концепции направлено не против еврейства, как такового, а против христианской, точнее — иудео-христианской, цивилизации. Спор у него идет на уровне противопоставления: Запад (европейский, технический) — Восток (в который он включает античное язычество, недаром он изобрел эту "крито-индийскую цивилизацию"), а не на том уровне, на котором спорят наши русские националисты: Москва—Иерусалим. Хотя, — и тут я согласен с Каганской, — его, конечно, сближает с ними принципиальное отрицание иудео-христианского начала и призыв к возврату в этакое "технологизированное язычество". Вряд ли, однако, Шимановы, Самолвины, Скуратовы и другие националисты, отвергающие русское христианство, согласятся так же, как Ефремов, браться с тибетскими ламами и индийскими йогами. Им, скорее, Перуна с Дажьбогом подавай. Но в каком-то общем, "оппозиционном" плане они, конечно, смыкаются, хотя проповедь Ефремова, я думаю, опаснее, потому что она понятнее молодежи и даже увлекательнее, чем доморощенное, почвенное философствование наших националистов.

Я еще не согласен с тем, будто бы Ефремов видит только один тупик в истории — иудео-христианский тупик. Он, конечно, обрушивается на него в первую очередь, но в "Лезвии бритвы" и в "Часе Быка" у него много сказано и о другом тупике — в его любимой "восточной" ветви развития. Он по-

лагает, что европейский тупик — это уход в технику, отрыв от здоровых инстинктов, а восточный (индийский или другой) — это чрезмерное углубление в себя, в психическое, в бездействие. И тут у него подспудно проскальзывает мысль, что Россия, как стоящая между Западом и Востоком, может быть тем "лезвием бритвы", по которому человечество пройдет в его, ефремовский, "рай".

Этот "рай" он себе рисует как такую смесь техники ХХХ века со сценами из светской жизни греческих аристократов, так, как они показаны в детских книгах про древнюю Грецию. У него ведь все романы — это сцены из светской жизни космической аристократии с очень сильным привкусом бульварных представлений об Афинах, о Спарте, о Крите и так далее.

Конечно, Ефремов в определенной мере оппозиционный писатель. И националисты тоже оппозиционны. А вместе с тем, у них у всех есть что-то общее с советским режимом. Возьмите программу Солженицына. Он ведь прямо предлагает некоторые принципиальные вещи из советского режима сохранить. Геллер рисует Ефремова "чистым" оппозиционером. Я думаю, таких вообще нет. Я знаю другую статью, написанную в России, где доказывалось, что Ефремов — фашист. И это тоже в известной мере правильно. Но верно и то, что если Ефремов и критикует советский режим, то критикует "со стороны языческого социализма", сохраняя в то же время и "советский" словарь, и систему мышления.

Есть и еще одна причина, по которой, мне думается, Ефремов для русской действительности более "перспективный" писатель, чем, скажем, Лем или Бредбери. Ефремов ведь целиком лежит в русской традиции. Смотрите, как он подходит к фантастике. Она у него — средство выражения определенной метаисторической, историософской схемы. Это очень напоминает мне первого из советских фантастов — Алексея Толстого, у которого тоже в "Аэлите", да и в "Гиперболоиде" — при всей их бульварно-социологической внешности — выстраиваются определенные схемы эволюции, схемы истории: столкновение "варварства" с "уставшим" Западом. А еще раньше — это у Брюсова. Но дело тут не только в тра-

диционном для русской мысли противопоставлении "Восток — Запад", но и в характерном для русской литературы стремлении к общечеловеческой, общеисторической постановке проблемы. И в этом смысле русская, а потом советская фантастика — прямое детище этой традиции. И — отголосок тех идеологических процессов, которые происходили и сейчас происходят в русском обществе.

А г у р с к и й. Я бы хотел остановиться на историософской концепции Ефремова. Она заключается в следующем: еврейский миф о первородном грехе (а в него входят понятия исторической совести, исторической и моральной ответственности) — миф очень вредный. Дальше он утверждает, что самый худший момент в истории заключается не в том, что этот миф был у евреев, а в том, что появляется параноик апостол Павел, который передает эту концепцию остальному человечеству, и вот отсюда и начинается исторический мрак. Если раньше он имел место только в еврейском мире, то в дальнейшем эта концепция захватывает все остальное человечество. Какую же альтернативу предлагает Ефремов? Он утверждает, что носителями светлого будущего человечества являлись ведьмы и ведьмовство (И. Ефремов был большой специалист по этому вопросу, он прочел все книги на русском языке, которые только были изданы в XIX — начале XX века) — это была естественная, хотя и истерическая реакция здоровой натуры на нелепую и давящую обстановку иудео-христианского средневековья. Альтернативу иудео-христианской цивилизации Ефремов пытается искать в Тибете, в Индии, где-то на Востоке.

К а г а н с к а я . Действительно, свято место пусто не бывает. При такой атеистической пропаганде, связанной с официальным антихристианством, существующим в СССР, неизбежно должна была возникнуть некая реабилитация язычества. Эта реабилитация существует у Маркса, который очень высоко оценивал языческую Грецию и говорил, что это прекрасный сон человечества.

Н у д е л ь м а н . Вы правы, реабилитация язычества, его превознесение действительно существуют в советской тради-

ции. И тут, по-моему, интересно прослеживаются связи Ефремова с официальной идеологией.

Вообще мне представляется, что метаисторическая концепция Ефремова шире того, что здесь сказал Агурский, и только в такой широкой постановке вопроса можно увидеть, какое место в ней занимает язычество, и антихристианский пафос, и его утопии. Если вы проследите все творчество Ефремова, то увидите, что он был весьма последователен. "Туманность Андромеды" как бы задает "начало отсчета", тот мир, который он считает идеальным, — этому посвящена вся книга. Там же намечена вся схема человеческой истории, все эти Эры Разобщенного Мира. "Лезвие бритвы" — это, так сказать, собственно концепция всей предыстории. Тут опять выпирает излюбленная его идея насчет "великой целесообразности". Она тут до такой степени назойлива, что сразу раскрывается ее механистический характер у Ефремова. Человечество развивалось под диктатом этой целесообразности, с железной необходимостью каждого шага, — и вот пришло к тупику. Эта идея лапласовского детерминизма, железной целесообразности целиком совпадает с советской официальной схемой истории, схемой природы.

Однако, как совместить лапласовскую причинность с тем, что цивилизация, по Ефремову, все-таки зашла в тупик? И тогда — это уже в "Часе Быка" — появляется третья его идея, совсем уже мистическая, манихейская идея: инферно. Дескать, рядом с логической, разумной, "светлой" целесообразностью всегда кроется где-то за углом "бездна инферно". Всегда в сердцевину эволюции направлена "Стрела Аримана". Некое мистическое, изначальное зло, которое несут в себе сами люди, общественные формации, социальные системы. Поскольку в своей схеме всеобщей целесообразности Ефремов не может объяснить, откуда берется это зло, он его просто постулирует. Он не замечает, как этим самым возвращается к тому самому иудео-христианскому представлению, на которое так яростно нападает. Но стремление "объяснить все" — и притом объяснить единообразно — у него пересиливает даже логику. По существу, в "Часе Быка" он гораздо бо-

лее оппозиционен, чем в других вещах. Он фактически подменяет Марксову теорию своей "теорией инферно". И Маркса он тоже подменяет — собой! Он так и говорит о себе в "Часе Быка", что, мол, подлинные законы истории раскрыл только великий мудрец прошлого Ефр-Орм, что-то в этом роде. Тут он зарвался, и у него начались крупные неприятности. Похоже, именно за это его вызывал даже Демичев.

Однако на основу ефремовской концепции я хотел бы обратить внимание. Дело вовсе не в том, что он якобы ведьм объявляет носителями светлого начала. Тут он, кстати, не первый, — это прекрасно расписано в "Огненном ангеле" у Брюсова. Брюсов вообще во многом близок был к этим взглядам. Но дело не в ведьмах, повторяю. У Ефремова бунт по другой линии — линии эротической, и тут он смыкается еще и с розановской критикой христианства.

Я хотел бы подчеркнуть, что концепция Ефремова столь же антирелигиозна, сколь и религиозна, столь же оппозиционна, сколь и проофициальна, столь же рационалистична — по-дурному, по-советски, до абсурда, — сколь и мистична. Вот этой двойственности, противоречивости Ефремова Геллер, мне думается, не уловил, он его "выпрямил".

К а г а н с к а я . В концепции Ефремова есть много общего с ницшеанством. Дело в том, что и Ницше всегда неявно присутствовал в официальной советской догматике, в очень странной модифицированной форме. И эта ницшеанская традиция имеет весьма глубокие корни в советском мировоззрении, которые восходят к Горькому, к Луначарскому. У Луначарского есть очень характерное высказывание о том, что если ему предложат выбрать между каким-нибудь хлюпиком-декадентом или ницшеанским сверхчеловеком, то, несомненно, сверхчеловек будет более близок и более приемлем социал-демократическому сознанию. И прибавьте к этому необычайное увлечение Джеком Лондоном, которое идет от Ленина. Д. Лондон — один из самых популярных писателей у русской и советской читающей публики, а он откровенный ницшеанец горьковского типа, довольно примитивный, с его абсолютно расистскими романами.

А г у р с к и й . Вы хотите сказать, что ефремовское отвержение иудео-христианской цивилизации и его ницшеанство тесно связаны? Я впервые прочел Ефремова в 1959 году — "Туманность Андромеды". Она на меня произвела сильное впечатление, и она была для меня неожиданна. Неожиданность заключалась в том, что эта книга очень резко отличалась от всего, что было тогда в советской литературе, и не только по форме. Она была, по существу, немарксистской. Это была хорошо написанная книга (по советским стандартам), и она будила мысль. К тому же, в тот момент это была и провокационная книга. Я тогда написал письмо Ефремову, потому что у меня сразу возникли возражения. В этом письме я заметил, что мне нравится мир, который показан в "Туманности Андромеды", но как к нему перейти? В этом мире только очень красивые и сильные люди. А мы знаем, что наш мир не таков — он не состоит из исключительно красивых, умных и сильных людей. Как перейти в такой мир, что сделать с людьми слабыми, не такими красивыми, больными? Я получил от Ефремова большое письмо. Он писал мне, что мой вопрос для него неожидан, что он никогда не задумывался над этим. Он даже сказал, что это вопрос — библейский (для него, видимо, все, что было связано с моральной ответственностью, идентифицировалось с Библией). По существу же, его ответ был настоящей апологией ницшеанства, но в ее чисто биологической интерпретации. Он говорил, что в свое время человечество научится совершенствовать свою природу, он выступал также против индивидуальной ответственности родителей за детей, наивно предполагая, что людям будет очень легко избавиться от индивидуального отношения к своим детям. Он писал мне: "Почему человек должен радоваться только своим детям, разве общий вид детского коллектива не должен доставлять коллективную радость?"

Я высказал сомнения в том, что человечество может улучшить свою природу и спросил Ефремова: "А как вы это будете делать? Значит, прежде всего, вы должны ввести селекцию браков? Вы должны кому-то не разрешать иметь детей. Вы должны, может быть, даже кого-то уничтожить или стерили-

зовать (как сейчас делают в Индии). Это связано с явными нарушениями прав человеческой личности. И кто возьмет на себя ответственность, какая группа людей будет создавать критерии такой селекции?" Ефремов мне, конечно, на этот вопрос не ответил. Я думаю, что ефремовское ницшеанство — немарксистское, и его осуждение религии в том виде, в каком он это делает, — тоже немарксистское. Но если бы мне лично предложили выбор между его идеологией и марксизмом, то я бы, пожалуй, предпочел марксизм в качестве наименьшего зла. Безусловно, у меня есть и другие варианты, но если бы не было выбора, то марксизм лучше. Представьте себе все последствия такого тезиса: евреи не только сами являются носителями дурной веры, дурного кодекса нравов, но они навязали всему человечеству дурную цивилизацию. Мы должны тогда по-новому посмотреть на всю историю. Дело в том, что двухтысячелетний антагонизм между иудаизмом и христианством не позволял задумываться над тем, что было бы, если бы христианство вообще не возникло исторически, и евреи были бы просто маленьким народом со своей религией. По большому счету, глобальный атеизм уничтожает место евреев в мировой истории вообще.

Это уже не имеет отношения к персональному выбору между иудаизмом и христианством. Можно быть глубоко верующим евреем, но при этом все-таки понимать, что мировое значение еврейства, в значительной мере, определено их вкладом в современную христианскую цивилизацию, которая причинила столько страданий евреям на протяжении тысячелетий. Но, оглядываясь назад, вы увидите, что это и был тот вклад, который евреи сделали в мировую историю, вклад гораздо больший, чем все остальные народы. Ефремов очень точно видит эту проблему. Антисемиты, начиная с конца XIX века, никогда не довольствовались критикой иудаизма, расовых особенностей еврейства — им нужно было напасть на всю иудео-христианскую цивилизацию. Мы видим это у Дюринга, мы видим это у Ницше, у целого ряда мыслителей довольно крупных. Последовательный антисемит должен зачеркнуть весь вклад евреев в мировую историю. И меня

несколько покорило, когда я увидел в журнале "Время и мы" столь хвалебную статью об И. Ефремове. Это то же самое, как если бы я увидел в том же самом журнале апологию Дюрингу.

Нудельман. Я могу только повторить, что такое сведение всей проблемы Ефремова к тому, как он относится к евреям, есть лишь подмена настоящего разбора. Не потому Ефремов отрицает христианство, что он не любит евреев, а потому он упоминает о евреях, что отрицает христианство, — таков, по-моему, правильный порядок вещей. Конечно, эта позиция немарксистская. Ну и что? Она немарксистская по одному набору параметров и марксистская — по другому. Она марксистская в главном — в методе, в том методе безграничного рационализма (который, одновременно — мистицизм, даже невежественный мистицизм), что приводит Маркса к одной "единой теории" исторического процесса, а Ефремова — к другой, столь же "единой", все объясняющей и приводящей — к технологически обновленному ницшеанству, о котором сейчас говорила Каганская. Вот характерный пример такого абсурда — пресловутая ефремовская Академия Горя и Радости. Он себе придумал такую арифметику человеческих эмоций, что будто их можно складывать, вычитать, суммировать и так далее. У него вообще упрощенное понимание человека, вытекающее все из тех же механистических установок, из представления, что все на свете жестко детерминировано. Но это не его личное открытие. Вся официальная советская фантастика насквозь проникнута тем же механистическим принципом детерминизма. Для нее, что космос, что будущее — это умножение уже известного до бесконечных пределов. Этим она создает такой коллективный оптимистический миф, в который очень хорошо вписываются вещи Ефремова. И я думаю, что тут дело не в цензуре, а именно в методе мышления. Лем в этом смысле куда больше "антисоветчик" и "антимарксист", чем Ефремов. Потому что он диалектик, а Ефремов, который непрестанно клянется диалектикой и рассуждает о "лезвии бритвы", — метафизик. И лезвие свое он понимает в духе древнегреческой сказки о Сцилле и Ха-

рибде: справа-слева, хорошо-плохо, черное-белое. При таком мышлении герои не могут не быть конструкцией, механической смесью желаемого. Когда Ефремов начинает складывать свои симпатии, получается этакий коммунистический сверх-человечек, чем-то очень близкий белокурой бестии. Или еще — племени гигантов, как в мифологической схеме Гербигера, столь полюбившейся Гитлеру.

Гринберг. Меня смущает один момент: можно ли о произведении искусства (если только это произведение искусства) говорить, как о чисто философском произведении, я бы даже сказал, как о чисто идеологическом документе. Если это все-таки произведение искусства — нельзя игнорировать, что оно связано с проблемами красоты, с проблемами чисто эстетическими, поэтому такое превращение, такой перегиб тематики вряд ли правомерен. Ефремов, если бы он мог присутствовать, мог бы сказать — "Позвольте, я — художник".

Каганская. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Дело в том, что я отрицаю по крайней мере за романом "Лезвие бритвы" право называться произведением искусства. Вообще-то говоря, это — бульварный роман. Как жанр, бульварная литература имеет свои очень интересные традиции. Бульварный роман, бульварная линия в литературе как-то очень интересно связались с научной фантастикой, это жанр массовый, жанр, использующий такие примитивные эмоциональные способы воздействия, которые очень далеки от высокого искусства. Так что если бы здесь появился Ефремов и стал бы говорить о себе как о художнике, то я бы просто отказалась от такого разговора, потому что художника я в нем не вижу, и произведения искусства в романе "Лезвие бритвы" тоже не вижу. Чем интересен этот роман? Он интересен тем, что определенные идеологические концепции, которые Агурский обрисовал очень точно, облечены в остросюжетную форму криминально-детективно-бульварного романа. Но дело в том, что в европейской литературе, в старой европейской литературе XIX века, бульварный роман всегда очень интересно сочетал в себе моменты чисто бульварной занимательности

с моментами остро идеологическими. Об этом хорошо писал Бахтин в своей книге о Достоевском, говоря о том, что эту традицию бульварного, прежде всего французского романа (Э. Сю "Агасфер") очень интересно понял и преобразовал Достоевский.

Нудельман. Это не совсем так. Вообще-то жанры, существующие на периферии литературы и оттуда возвращающиеся в центр — об этом писал Тынянов, — имеют тяготение друг к другу. И кроме того, научная фантастика очень часто тяготеет не только к окраинным жанрам, но и к общей подкладке всего искусства — к мифу. Я уже говорил, что вся советская официальная фантастика — это есть такой коллективный, рационалистический, оптимистический миф.

Однако я хотел бы возразить Каганской, когда она говорит, что чуть ли не вся фантастика за гранью литературы. Научная фантастика — новый жанр, который еще не выработал своей поэтики. Когда мы встречаем что-то знакомое, "классическое", как у Бредбери, мы склонны принять это как литературу. Но разве у Толстого в "Аэлите" меньше лекций? Мне кажется, тут у Каганской наметилась опасная тенденция отказать научной фантастике в праве на литературность, потому что-де она вся заражена бульварщиной. Я не говорю конкретно о Ефремове, Ефремов, конечно, слабый писатель, хотя ранние его вещи были неплохие, "На краю Ойкумены" была очень неплохая, и рассказы тоже. И в "Туманности Андромеды" есть сцены с настоящей романтикой космоса, его величия, — об этом нельзя забывать. Что же касается того, что из него можно "вычленить" историософию, идеологию, то это особенность фантастики вообще. Это очень идеологизированный жанр. У всякого настоящего фантаста за всеми вещами стоит определенная конструкция мира, схема истории.

Агурский. Я бы хотел добавить следующее: существует старая традиция русской и ныне советской литературы: ввиду цензурных ограничений и невозможности опубликовать произведение по социологическим или философским основаниям, определенные идеологические, философские концеп-

ции высказываются со страниц художественной литературы. В дореволюционной русской литературе это было широко развитой традицией, возьмите романы Толстого, Достоевского, Пушкина, Гоголя, даже Тургенева "Отцы и дети". Или, возьмите даже такой, казалось бы, скучнейший роман, как "Мать" — он является попыткой ницшеанского осмысления жизни. Так что традиция эта очень широко развита, гораздо в большей степени, чем на Западе, потому что там всегда существовала возможность для открытого выражения философских взглядов.

Гринберг. Вы говорили, что мастерство Ефремова произвело на вас впечатление?

Агурский. Да, безусловно, "Туманность Андромеды" я воспринял как художественное произведение, так же, как еще целый ряд рассказов Ефремова, но насчет "Лезвия бритвы" я бы особенно не стал спорить с Каганской.

Гринберг. В таком случае вы должны сознательно ограничить себя только этой книгой, которая, видимо, представляет собой особый способ (сознательно замаскированный) высказывания своих идей.

Каганская. Я не думаю, что сознательный. Ефремов, вероятно, считал себя писателем, и, если бы ему предложили другой жанр, он бы просто его не принял. Для самого себя он был художником. Но таковы уж черты его личности, для меня безусловно примитивной. Это человек небольшой культуры, небольшого образования и небольшого художественного дара. И я, как читатель, имею полное право не видеть в нем писателя, художника, а видеть в нем некое интересное идеологическое явление. И то, какие уровни сознания, какая экзистенция, какие перспективы в будущем стоят за этим явлением.

Агурский. Итак, мы рассматриваем в данном разговоре роман "Лезвие бритвы" и все творчество Ефремова не как художественное творчество, а как некий этап в интеллектуальной истории. И в этом смысле советская литература является очень важным моментом интеллектуальной истории, поскольку других способов выражения в подцензурных условиях у советского человека нет.

Каганская. Тут я с вами абсолютно не согласна. Литературу можно рассматривать как элемент интеллектуальной истории, социальной истории, но главное, что литература существует сама по себе, и, поддаваясь всем этим интерпретациям, она сохраняет абсолютную автономную независимость. Эта автономия и независимость требуют совершенно иного подхода к литературе только как к литературе, как к самоцели, и самодостаточному способу духовного существования. Если бы речь шла о Булгакове, о совокупности его концепций, я была бы очень осторожна, потому что речь бы шла о первоклассном художнике. Но, когда речь идет о Ефремове, я чувствую себя свободной от каких-либо ограничений. Я не вижу в нем художника. Я вижу совокупность очень тревожных, очень мрачных, и симптоматичных, и к тому же очень опасных в исторической перспективе взрывных идей. И в этом явлении я вижу весьма интересный парадокс. В своем романе "Лезвие бритвы", который мне кажется самым откровенным, Ефремов говорит о ведьмах, как о наиболее прогрессивном и здоровом начале, но вместе с тем он сам становится ведьмой, он демонологизирует мир.

Нудельман. Мы слишком много говорим о ведьмах, а это, в сущности, проходной мотив. Если же взять в общем масштабе концепции Ефремова, то можно увидеть, что он свою "демонологизацию мира", точнее — манихеизацию, выводит из самых архаичных глубин, из затонувшей Гондваны, вообще из основ человеческой природы. Не в том дело, что евреи и китайцы архаичные народы, а в том, что — зло вообще извечно, присуще природе, человеку и обществу. Но некоторые цивилизации — опять же непонятно, почему, по каким-то мистическим причинам — на какое-то время достигали идеального равновесия. Вот крито-индийская достигла. Ефремов хотел бы ее вернуть и заморозить. У него ведь весь мир статичен. Также у него обстоит дело с эросом. Он был, конечно, болен в этом пункте. Это и в его чертах характера сказывалось. Когда он пишет про женские груди, он напоминает ту монахиню-ханжу, которая кричала, что под

одеждой люди все равно голые. Она их видела всегда голыми, а Ефремов непрестанно видит в женщине груди. Он осуждает христианство за то, что оно извратило эрос, но сам-то он на деле ненавидит свою зависимость от тела. Он прославляет телесное, но все время воюет с ним же, хочет исключить все, что с ним связано, кроме собственного наслаждения. Деторождение (у него дети не рождаются, а "появляются"), семья, воспитание — все это его пугает, он это ненавидит. И еще он, конечно, ненавидит старость. Тут он вульгарный ницшеанец, даже близок к фашистской идеологии с ее культом молодости.

К е л л е р м а н . Я бы хотела, чтобы вы остановились на вопросе о наследниках И.Ефремова, о той традиции, в русле которой он находится. В журнале "22" напечатана замечательная статья человека, пишущего под псевдонимом М.Скуратов. Это — о развитии традиции Ефремова. Он пишет так: "Однако, несмотря на всю свою космополитическую окраску, христианство несет на себе неизгладимую печать своего иудейского происхождения и, кстати, потому оказало разрушительное воздействие на психический склад индоевропейских народов. И дело не в том, что, раз заимствовано у евреев, значит — плохо, как могут подумать некоторые, плохо не то, что заимствовано у евреев, а то, что у евреев заимствовано плохое". И далее он говорит об особенностях еврейского мышления, о монотеизме и т.д.

К а г а н с к а я . Я хочу снова вернуться к проблеме, которую, видимо, мы не сможем решить, но проблема эта очень глубокая — это эротомания Ефремова. Я не воспринимаю эту тему, как тему, подлежащую психоаналитическому анализу. Я снимаю все, что связано с эротикой в прямом смысле слова. Я говорю только о том, что, поскольку такая система идей очень связана с некими эротическими положениями, я рассматриваю эотику как символ определения себя человеком в мире. Когда антисемитизм так связан с эротикой, как он связан у Ефремова, то мне кажется, что мы должны к этому относиться очень ответственно: значит, речь идет о самых основах жизни, то есть о том самом глубоком уровне

жизни, который плохо поддается логическому осмыслению. Похоже, что перед нами идеология, которая основана на необходимости уничтожения евреев.

А г у р с к и й . Уничтожения не физического, а духовного. Что значит духовное уничтожение? Представим себе мир, в котором никто не признавал духовного вклада евреев в развитие цивилизации, но физически евреи продолжали бы жить...

Н у д е л ь м а н . Я не думаю, что Ефремов сам, лично, хотел бы уничтожить евреев. Он хотел бы избавить мир от иудео-христианства. Я думаю, что у него и логика такая. Был "чистый эрос" вроде того, о котором он упомянул уже в первой своей книге, в "Ойкумене" (когда у него герой попадает на Крит). Но потом евреи изобрели всякую мораль, нравственность, законы семьи, деторождения и приложили это к эросу, а христиане узаконили все это. В результате эрос, как чистое наслаждение, стал невозможен. Короче, он противопоставляет эрос — любви, вакхические начала — социальному. Ефремов не считает, что евреи присвоили себе эрос. Он считает, что они его задушили, что иудео-христианство задушило основную силу жизни. Это у него буквально во всех книгах, вплоть до последней "Таис Афинской". Так что у него самая прямая связь эротомании с общей концепцией возвращения к язычеству. Я только не думаю, что это нужно называть антисемитизмом.

А г у р с к и й . Мы фактически сейчас упираемся в концепцию антисемитизма Фрейда по его теории, выдвинутой еще в 1939 году — антисемитизм — это есть реакция на те моральные ограничения, которые были насильно навязаны христианством бывшим языческим народам.

К а г а н с к а я . Перед нами очень глубокие экзистенциальные корни антисемитизма. С одной стороны, его рациональное начало — это языческий протест против навязанной трансцендентной морали, которую принесла иудео-христианская цивилизация, и с другой стороны — это психологические корни воплощения этого протеста, то есть — это садизм, это желание уничтожить то, что тебя ограничивает.

Нудельман. Да, восстание против самого себя, внутренняя противоречивость языческого бунта — это правильно, хотя опять-таки я бы призвал к осторожности в суждениях. Я боюсь такого впечатления, что вот мы сейчас за один присеет решили проблему Ефремова, и заодно проблему корней антисемитизма, и впридачу еще проблему отношений западной и восточной цивилизации. Особенно я бы призвал к осторожности в последнем. Я бы даже воздал здесь должное Ефремову: пусть он неправильно, как нам кажется, решает эту проблему, но гораздо важнее, что он ее ставит, что он выводит нас за привычные узкие рамки одной известной нам западной цивилизации.

Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily - Established 1910

243 WEST 56th STREET
NEWYORK, N. Y. 10019

М. Г.

Tel Columbus 5 5500

Подписываясь на газету будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

Ежедневное издание только:

Год — \$45.00; в мес — \$25.00; 3 мес. — \$15.00.

Воскресное издание только:

1 год — \$20.00; в месяцев — \$12.00

Заграничная подписка принимается только на

1 год — \$60.00; 6 месяцев — \$35.00

Только воскресное издание для заграницы

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

Заграничная подписка воздушной почтой в страны Европы и Латинской Америки

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

Воскресное издание только:

1 год — \$75.00; 6 месяцев — \$40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

Воскресное издание только:

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.



Лев ЛАРСКИЙ

"ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ!" (из мемуаров ротного придурка)

Часть 5. БЛЕДНАЯ СПИРАХЕТА - ОРУЖИЕ ВРАГА

Как читателю известно, будучи ранен в стрелковой роте, я попал в медсанбат, а затем в армейский госпиталь, стоявший в городе Бяла Вельска, неподалеку от границы между Польшей и Чехословакией.

Признаюсь честно: чего я больше всего боялся на фронте, так это госпиталя. Не столько вражеские пули и снаряды меня пугали, сколько операционный стол и хирург в белом халате со скальпелем в руках. Еще я ужасно боялся, что если меня контузит, то в госпитале через меня будут пропускать электрический ток — об этом я еще слышал в запасном полку. Я заранее дал себе клятву: ни за что не попадать в госпиталь с контузией, лучше умереть! В детстве я, как-то решив попробовать, какого вкуса электричество, лизнул штепсельную розетку — вкус этот мне запомнился на всю жизнь.

Во время боев в Карпатах меня и вправду контузило. Вместо того, чтобы отправиться в госпиталь и пройти лечение,

я отлеживался две недели в ротной хозяйке под телегой, а потом два года заикался.

За геройский патриотический подвиг меня наградили орденом Славы III степени, а он давался не каждому (разумеется, об истинной причине своего героизма я умолчал).

Мильт, мечтавший о такой награде, был уязвлен в самых лучших чувствах.

— Ваша нация у казачества славу увела! — ни более ни менее — заявил мне этот старый конокрад, будто "наша нация" "увела" его кобылу.

Как я ни боялся госпиталя, но все же, когда меня ранило в живот, я там оказался. Если бы осколок попал куда-нибудь в руку или в ногу, я, может быть, опять побоялся бы пойти в госпиталь и за свой "патриотизм" получил бы орден Славы II степени. Мильт такого удара, наверно, не пережил бы.

Но теперь вопрос стоял о жизни или смерти, а помирать мне очень не хотелось в мои двадцать лет да и обидно было как-то отправляться в "наркомзем", когда победа уже не за горами. Откуда я мог знать, что ранение не опасное? Это выяснилось только в госпитале, когда сделали рентген.

В медсанбате же никакого рентгена не делали, там действовали на глазок. Раненых клали на операционные столы и "обрабатывали" по конвейерной системе, как в разделочном цеху мясокомбината.

Ну и натерпелся же я страху!

Случайно санитары положили меня на последний стол. Попади я куда-нибудь в серединку, скальпель хирурга автоматически обработал бы меня в общем потоке.

С замиранием сердца я наблюдал, как он, кромсая направо и налево, приближался ко мне. Но на последнего раненого у него не хватило сил, выдохся. Тяжело дыша и обливаясь потом, как загнанная лошадь, хирург отшвырнул нож и пошел отдыхать, спихнув меня в госпиталь, где я находился всего месяц и был выписан в выздоравливающий батальон.

Таким образом, в ремонтно-починочном цехе войны я прошел лишь текущий ремонт, а не капитальный, длившийся месяцы, а то и годы.

Мне думается, что для читателя не представляет большого интереса описание палаты, где я лежал, и всяких медицинских процедур, — тем более, что на эту тему написаны целые романы и поставлены кинофильмы.

В своих мемуарах я коснусь малоосвещенных в литературе сторон "наркомздрава". Я полагаю, что без придурков "наркомздрав", как таковой, немыслим, причем не только в годы войны, но и в мирные дни.

Не успели меня принести в приемный покой госпиталя, как какой-то человек в белом халате с криком: "Лева! Родной!" бросился ко мне. С большим трудом я узнал в нем "дракона" Ваську, бывшего своего командира отделения, с которым мы вместе ехали на фронт из "Горьковского мясокомбината".

Васька так разжирел на госпитальных харчах, что сам на себя стал не похож. По его словам, он уже год кантуется в госпитале, живет, как у Христа за пазухой, лучше, чем в санатории. Числится слесарем-водопроводчиком и начальству сапоги тачает. На врачихе женился!

Васька тут же распорядился положить меня без всякой очереди в самую лучшую палату на самое лучшее место...

Но меня ожидал еще один сюрприз: ко мне в палату заявился... Сашка! Оказывается, он здесь кантуется с тех пор, как его ранило. Конечно, он не помнил, как я его поил водой, но ко мне он отнесся, словно родной, будто никогда не гонял меня, как собаку.

Старшинские погоны Сашка опять сменил на солдатские, но зато в госпитале он был далеко не последним лицом — начальником хлебозерки. Сашка заверил меня, что в его власти не выписывать меня из госпиталя сколько угодно, с начальством, мол, он вместе выпивает и гоняет в преферанс, у него здесь все свои. Так мы опять собрались втроем.

Как-то в нашей "Ишачиной дивизии" была объявлена тотальная мобилизация, и некоторых придурков, под горячую руку, загребли на передовую. Даже одного из своих ординарцев генерал отправил на передовую, чтобы показать пример

всему начальству. Все эти придурки попали в стрелковую роту, где я был писарем, и в первом же бою выбыли в "наркомздрав". Многих из них я тоже повстречал в госпитале в добром здравии. Кто пристроился в ординарцы к начальству, кто при кухне состоял или на складе, один стал чтецом при клубе, другой — баянистом, А многие просто отдыхали от ратных трудов, числясь выздоравливающими, то есть соображая насчет выпивки и баб.

Вид у всех был просто цветущий. За все годы войны только в "наркомздраве" довелось мне наблюдать такое скопление упитанных, краснолицых и самодовольных людей, всегда в меру подвыпивших, о чем свидетельствовал исходящий от них запах алкогольных паров. Спирт из госпитальных запасов зря не пропадал.

Кстати, в послевоенные времена очень похожая публика вместо госпиталей стала прохлаждаться в санаториях и пансионатах закрытого типа. Застиранные бязевые халаты они сменили на махровые импортные, и пахивать от них стало уже не денатуратом, а марочным коньяком. Это была все та же придурочная братия, но перековавшая мечи на орала. Приверженность их к "наркомздраву" общеизвестна. Я уже не говорю о высокопоставленных придурках, для которых созданы персональные здравницы на всех курортах, но и для мелкой придурочной сошки созданы условия, которые рядовым строителям коммунизма и не снились.

Однажды, находясь в Железноводске в задрипанном санатории "Ударник", предназначенном для рядовых язвенников и гастритников, я случайно проник в цековскую здравницу "Горные ключи", специально сооруженную для партийных придурков не особо высокого пошиба: секретарей райкомов, всяких "замов" и "помов" и техперсонала. Видимо, в наказание, среди этой сошки был помещен тогда и разжалованный член Политбюро, человек с самой длинной в СССР фамилией И-примкнувший-к-ним-Шепилов, которого я имел удовольствие лицезреть, когда он в гордом одиночестве прохаживался по дороге вокруг горы Железной.

В цековский храм затащил меня один знакомый придурок, — по большому благу доставший туда путевку, — чтобы продемонстрировать мне, какая жизнь будет при коммунизме. Ведь в "наркомздраве" для придурков уже создано светлое будущее. Я увидел дорогие ковры, хрустальные люстры, мебель красного дерева с инкрустациями, портьеры из натурального бархата и портреты членов Политбюро. Товарищ сообщил мне по секрету, что под санаторием имеется прекрасно оборудованное бомбоубежище с бильярдным залом. Я думаю, что этот факт должен бы заставить призадуматься стратегов Запада: если во Второй мировой войне придурки сыграли весьма важную роль, то в условиях термоядерной войны они могут превратиться в решающий фактор.

Не дай Бог, вспыхнет термоядерная война. Живая сила воюющих армий может быть уничтожена, но придурки-то все равно уцелеют. Перекантуются где-нибудь в "наркомздраве" и опять возьмутся за решение всемирно-исторических задач, как это уже было после Второй мировой войны. Не в колхоз же им, в самом деле, идти ишачить.

* * *

Теперь рассмотрим другой вопрос: за счет кого же пополнялся "наркомздрав"?

— За счет раненых на фронте, — может сказать читатель.

Действительно, с фронта непрерывным потоком поступали в "наркомздрав" раненые вражескими пулями и осколками, а также контуженые.

Однако, наряду с этим потоком, неудержимой лавиной поступали раненые иного рода.

— Любовь побеждает смерть! — когда-то гениально заметил товарищ Сталин*.

На войне смерть всегда набирает силу, поэтому извечная битва любви со смертью приняла особенно ожесточенный характер. Действия на сердечном фронте резко активизировались в конце войны, когда Советская армия приступила к выполнению освободительной миссии за пределами госу-

* Орфография приводится в гениальном сталинском написании.

дарственных границ СССР, а союзники открыли на Западе Второй фронт против немцев.

Видимо, не зря в "наркомздраве" этот активизировавшийся сердечный фронт стали именовать Третьим фронтом, ведь наши потери на нем намного превышали потери и союзников, и немцев — вместе взятых — на Втором фронте. Поскольку такое положение серьезно угрожало боеспособности советских войск, помимо "наркомздрова" на Третий фронт были переброшены все политорганы. Издавались секретные приказы, согласно которым выбывшие из строя на Третьем фронте приравнивались к дезертирам, самострельщикам и членовредителям. После излечения в "наркомздраве" их должны были направлять в штрафные роты.

Но куда там! Потери росли, как снежный ком, и ни о каких штрафных ротах и думать уже не приходилось: по меньшей мере, половину офицеров туда пришлось бы послать, а кто бы тогда солдатами командовал?

В первую голову на Третьем фронте отличался цвет армии, наиболее боевые и отважные рубаки. Но и придурки им не уступали, используя свои позиции и свою накопленную в тылах мужскую силу. В общем, любовь не только смерть побеждала, но, если быть до конца откровенным, на фронте любовь косила всех без разбора — в том числе и самих политработников — кто знает, сколько прекрасных и высокоидейных армейских коммунистов пало жертвами морального разложения*.

Третий фронт, как и другие фронты, имел своих выдающихся героев. Отличился на нем и прославленный маршал Рокоссовский, — о чем я уже упоминал, — но особенно выделялся своими подвигами дважды герой Советского Союза гвар-

* По свидетельству однополчан, одним из бесстрашных героев Третьего фронта был полковник Брежнев. В истории Великой Отечественной войны справедливо отмечается стратегический гений и исключительные заслуги Леонида Ильича в разгроме фашистского врага. Но простодушные однополчане, которым тогда и присниться не могло, кем станет полковник Брежнев, утверждают, что Леонид Ильич был в основном знаменит своими бровями, перед которыми не могла устоять ни одна ППЖ — полевая походная жена.

дии генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин, которого по праву можно считать Верховным Придурком Советской армии.

Солдатская молва разносила по всем фронтам легенды о любовных похождениях и кутежах сына гения человечества и величайшего полководца всех времен и народов. До поры до времени не была предана огласке беспримерная деятельность на Третьем фронте ближайшего сподвижника Вождя народов маршала Советского Союза Лаврентия Павловича Берии. Только, когда, благодаря бдительности таких же верных ленинцев, было неопровержимо установлено, что маршал Берия еще с семнадцатого года являлся замаскированным дашнаком, муссаватистом и платным агентом мирового империализма, — вскрылось, что Лаврентий Павлович иногда позволял себе изменять жене. В общей сложности он проделал это с 857 женщинами, как об этом со всей партийной прямотой сообщил партии наш ленинский ЦК.

НА ТРЕТЬЕМ ФРОНТЕ

Будучи всего лишь ротным писарем, я в высоких сферах не вращался. Только в период своей недолгой штабной карьеры случайно соприкоснулся с сердечными делами генерала Веденина, командира нашего корпуса, содержавшего личный гарем, которому мог позавидовать турецкий паша средней руки. Генеральского адъютанта в штабе так и называли "начгар" (то есть — начальник гарема). Этот "начгар" всем хвастался ночными генеральскими победами: трахнули эту, трахнули такую-то, каждое утро об этом всем докладывал, видимо, желая таким способом поднять престиж генерала.

Конечно, полковое начальство подобной роскоши себе позволить не могло, но и среди него тоже было немало героев Третьего фронта. Именно на этом фронте наш полк потерял одного из храбрейших своих командиров, отчаянно-го сорвиголову гвардии подполковника Наджабова, которого пришлось основательно госпитализировать. Ходили слухи, будто его даже разжаловали за венболезни.

Я буду говорить о том, что знаю, и расскажу, как пополняла "наркомздрав" моя рота. Начну с боевых потерь, а затем коснусь и сердечных.

Поскольку в мемуарах по возможности следует придерживаться строгой документальности, я приведу секретные данные о движении численного состава нашей стрелковой роты в процессе боя.

Состав	Перед боем	Спустя 15 минут после вступления в бой	В ходе выполнения боевой задачи
офицерский	4	1	1
сержантский	14	5	3
рядовой	42	20	15
конский	1	1	1
Всего:	60+1	26+1	19+1

Из этих средних данных читатель может видеть, что основные потери (до 60% личного состава) рота несла, едва вступив в соприкосновение с врагом. В штабах почему-то существовало предвзятое мнение, будто в первую очередь выбывали из строя необстрелянные люди, а опытные вояки остаются и ходят в атаки и контратаки.

Но дело-то обстояло как раз наоборот, о чем свидетельствовала ротная ведомость учета личного состава и боевых потерь (так называемая книга "наркомзема" и "наркомздрава"), согласно которой бывалые вояки, только что выписанные из "наркомздрава", тотчас же возвращались обратно. Такое даже правило у придурков было заведено: в первый день боя с нетерпением поджидали они, когда старшины и писаря вернутся с передовой.

Дело в том, что водку мы получали в этот день на все 60 человек, то есть 6 литров, из расчета по 100 граммов на душу.

А к нашему приезду на передовой оказывалось от силы человек 25, остальных, как ветром сдувало при первых же выстрелах, и они гурьбой устремлялись в "наркомздрав" с легкими пулевыми ранениями в конечностях.

Таким образом, излишек водки составлял у нас литра три с половиной! Конечно же, мы ее обратно на склад не сдавали.

В последующие дни излишек составлял максимум пол-литра, и мы — старшина, я и ездовой — по-братски его распивали. Так что учет боевых потерь велся по двойной "бухгалтерии" — и по ведомости, и по водке.

Но почему все-таки основное пополнение уходило в "наркомздрав" в первые же минуты боя? Оттого, что в эти минуты происходили наихарчайшие схватки? Честно говоря, не совсем так. Однажды на формировке я случайно подслушал, как два наших солдата — Иван Нечипоренко и Федя Мерзляков — тайком уговаривались.

— Ваня, значит, как в бой вступим, ты зараз мне в руку, а я те в ногу.

— Постой, Федь, — возражал другой, — ежели я сперва те в руку, как же ты с одной руки-то стрелять будешь? Заместо ноги в башку мне угодишь!

— Вань, прошлый раз-то, как у нас было? Ты мне в ногу, я те в руку, а теперь давай поменяемся. Чтобы по-честному.

— Тогда ты первый должен в меня стрельнуть.

— Значит, зараз, я те в ногу, а опосля ты мне в руку... На том они, видно, и поладили.

После этого я понял, почему именно в самом начале боя столько народу в "наркомздрав" улетучивается. По мере того, как война подходила к концу система "ты мне в ногу, я те в руку" распространялась все больше. Это можно было определить по бидону, в котором водки оставалось все больше и больше. Естественно, и пьянка в тылах возрастала.

О потерях личного состава на Третьем фронте расскажу на примере саперной роты, где я пробыл больше времени, чем в стрелковой.

Разумеется, без женской темы в солдатских разговорах никогда не обходилось, но с практикой обстояло хуже.

Не зря саперы называли себя "каторжниками войны". А малокалорийное питание тоже сердечным походом не способствовало.

— Жив будешь, но бабу не захочешь! — как любил говорить повар Колька, разливая по котелкам баланду.

Но, вопреки всему, саперная рота была достойно представлена на Третьем фронте. Нашу честь поддерживала сборная команда, за которую вся рота болела, радовалась ее победам и глубоко переживала неудачи.

Капитаном команды по праву считался Мильт, самый многоопытный бабник — каким и полагалось быть донскому казаку да к тому же еще станичному милиционеру. Мильт хвалился, что у самого начальника райотдела молодую жену отбил!

Центральным нападающим единогласно был признан Бес, на счету которого числилось больше всего побед, за ним тянулись молодые сержанты и командир второго взвода лейтенант Григорьян со своей бородой, смахивающий на ассирийского царя Навуходоносора.

Командир роты играл больше роль судьи, поскольку он в походах не участвовал и всегда жил солидно, имея персональную ППЖ.

Читатель, конечно, догадывается, что я относился к разряду болельщиков, причем не особо искушенных, прямо надо сказать: мой первый роман со студенткой Любой в городе Горьком, оборвавшийся из-за неожиданной отправки на фронт, дальше совместного посещения кино не успел зайти.

Правда, у меня оказалась ее фотокарточка — Люба попросила срисовать ее портрет — с полустертыми словами на обратной стороне: "Каво люблю, тому дарю" (подозреваю, что эта дарственная надпись предназначалась не для меня). Тем не менее, Любина фотокарточка в роте имела потрясающий успех, и мне даже завидовали — мол, у такого очкарика-недотепы какая девушка красивая!

Даже наша ротная ППЖ Нюрочка о моем выборе отзывалась одобрительно. Романтическую любовь она считала делом святым и со всей решительностью защищала меня от подко-вырок.

Нюрочка была в роте санинструктором, так сказать, представителем "наркомздрава", и по совместительству являлась также объектом коллективных атак нашей команды.

Вообще-то у нас в полку придурочных дон-жуанов было хоть отбавляй, но она ими не особенно тяготилась: ведь еще до армии она работала по самой древнейшей профессии на Краснодарском вокзале и тайны из этого не делала. Ее груди, бедра и ягодичы, по всеобщему свидетельству очевидцев, были покрыты искуснейшей татуировкой. Например, на одной половине эпинштейна (так изысканно называл эту часть ее тела Милът) была изображена кошка, а на другой — мышка. По словам тех же очевидцев, когда Нюрочка ходила, кошка догоняла мышку, как живая!

Однажды сам командир полка майор Кузнецов из чистого любопытства решил взглянуть на Нюрочкины "картинки" и так ими пленился, что забрал Нюрочку из нашей роты к себе, произвел в свою личную ППЖ.

Таким образом она и вознеслась в полковые гранд-дамы, распоряжалась командирским адъютантом и ординарцами, как хотела, говорили, и сам майор попал к ней под каблук.

Краснодарский вокзал и саперную роту она уже не вспоминала, поплеывая на нашу команду с высоты своего положения, и лишь для Беса делала исключение.

Потом у майора Нюрочку отбил какой-то дивизионный начальник, и она пошла наверх — в конце войны ее видели в машине с каким-то генералом, всю увешанную медалями.

Потеряв фронтовую подругу, ротная команда подалась на сторону — к этому времени наш полк попал за границу в Европу.

4-ый Украинский фронт в Германии не воевал. Мы с побежденным немецким населением, которое поднимало перед советскими солдатами руки и ноги вверх, почти не сталкивались.



Я надеюсь, что читатель великодушно простит мне отсутствие походов на Третьем фронте, каковые, вероятно, обогатили бы мои мемуары. Это объяснялось не только моей застенчивостью и малой осведомленностью в сердечных делах, но, главным образом, паническим страхом перед венерическим госпиталем. По рассказам побывавших там "канареечников" — "канарейкой" ласково называли гонорею, самую распространенную награду за сердечные успехи, — им впрыскивали в берцовую кость лошадиную дозу скипида-ра. После этого "канарейка" улетала, но многие по несколько дней лежали без сознания, а затем ползали на карачках целый месяц, пока приходили в себя. Поймать "канарейку" — это было еще полбеды. Можно было запросто обзавестись и бледной спирахетой, которая, проникая в организм, откусывала носы и высасывала мозги.

— Волков бояться — в лес не ходить! — посмеивались солдаты, бесстрашно атакуя освобождаемый от фашистского ига прекрасный пол. Я же из-за своей мнительности дал себе зарок — к сердечным делам приступить лишь по возвращении домой. (Между прочим, когда я женился, моя покойная теща, в годы войны работавшая врачом в тыловом госпитале, потребовала от меня, как от фронтовика, справку от венеролога).

Но на фронте разве можно было от чего-либо зарекаться. Однажды я чуть было не угодил в объятия к Нюрочке, к которой испытывал лишь отвращение, хотя она мне и покровительствовала. Это случилось в самый страшный момент моей жизни, когда резерв нашей саперной роты был окружен немцами на высоте 718 в Карпатах. Мы оказались в старых окопах, оставшихся со времен Первой мировой войны, где заняли круговую оборону.

Боеприпасы кончились, но немцы, на наше счастье, об этом не догадались. Вместо того, чтобы просто подойти и взять нас в плен, суетились внизу, перестраиваясь для последней атаки, а их пулемет не давал нам поднять головы. С Нюрочкой нас было тринадцать душ, направлявшихся строить НП для командира полка. Дыхание смерти уже коснулось нас,

казалось, спасения нет. Но и в этот последний миг любовь не отступила перед смертью. Я не видел, как это началось, когда оглянулся — за моей спиной сопела и барахталась куча тел, из-под которых доносился Нюрочкин голос:

— Ребята, еврейчика пустите, — ходатайствовала она за меня, — помрет ведь не пое..мшись...

Какая-то неведомая сила едва не бросила меня в сопящую кучу, но тут немецкий пулемет вдруг захлебнулся, и лейтенант Григорьян, не успев натянуть штаны, бросился из окопа с криком: "Второй взвод, за мной!" Возможно, немцы, перезарядившие пулемет, оторопели из-за того, что мы в таком неприличном виде их атаковали... Все произошло в считанные мгновения. Двое немцев бросились бежать, троих мы перебили лопатами и с трудом унесли ноги, скрывшись в лесном завале.

Насколько мне помнится, еще один шанс я, к своему счастью, упустил, но уже не с Нюрочкой, а с очаровательной гражданской паненкой Зосей из польской деревеньки в Краковском воеводстве. Дело было так. Когда мы пришли в дом, отведенный для ночевки инженеру, там оказались две смазливый полячки. Инженер, бывший "под мухой", облюбовал себе хозяйку дома, а мне и своему ординарцу Женьке приказал заняться паненками. Но нам с Женькой в тот момент было не до чего, от усталости мы просто падали с ног и заснули, как убитые.

Вечером подвыпивший уже изрядно инженер нас растолкал и устроил разгон:

— Эх, вы, баб-то проспали, минометчики их увели! Вы саперную роту позорите. Чтобы паненок мне обработали, иначе я вас из саперов повыгоняю! — пригрозил он.

В общем, честь роты надо было поддерживать. Когда паненки вернулись, Женька, не долго думая, полез к ним в кровать, под перину, а там спало все семейство — и мама, и папа, и дедушка с бабушкой! Я, конечно, постеснялся так поступать и попросил Женьку послать одну паненку в прихожую, где никого не было. Эта самая Зося упрашивать себя не заставила, а тут же явилась с намерением отдаться. Вот-вот это должно

было совершиться, как вдруг дверь на улицу настежь распахнулась, и в прихожую ворвалась разъяренная Александра Семеновна, ППЖ командира нашей роты, крича на весь дом: "Здесь капитан с этой рыжей курвой? Они к инженеру пошли, я знаю!" — она имела в виду Катю, бывшую до нее ППЖ у командира и недавно вернувшуюся из госпиталя. Александра Семеновна стала обыскивать все углы, даже под кровать заглядывала. Меня сейчас же послали искать капитана. Так что приказ инженера я выполнить не успел, однако, сожалел об этом недолго.

Через несколько дней после этой ночевки та же Александра Семеновна, фельдшер полковой санчасти, вызвала меня и без обиняков сказала: "А ну-ка, скромник, скидай штаны! Б-дь твоя из прихожей всю минометную роту "канарейкой" наградила".

После того, как мы начали свою освободительную миссию в Польше, потери нашего полка на Третьем фронте резко возросли. В связи с этим был проведен партийно-комсомольский актив. Выступал инструктор политотдела, призывавший повысить морально-политическое состояние всего личного состава перед лицом венерических болезней, которые, как он выразился, — "льют воду на мельницу Гитлера". Коммунисты и комсомольцы, вдохновляемые мудрым руководством товарища Сталина, должны быть в авангарде борьбы. Выступал и комсорг полка лейтенант Кузин:

— Бледная спирахета — оружие врага! — заявил он. — Наша боевая стенная печать должна ударить по ней со всей беспощадностью.

Эта директива непосредственно касалась меня. Я был по совместительству редактором ротного "Боевого листка", за оформление которого не раз получал благодарности. "Боевой листок" выпускался на специальных бланках, на них типографским способом был напечатан заголовок с портретом товарища Сталина и девизом "За нашу советскую родину!". Оставалось только вписать туда заметки на злободневные темы. Но я придумал новый метод. Вместо нудных заметок, которых никто не читал, я рисовал портрет какого-нибудь

ротного героя, отличившегося в бою, и писал всего несколько слов: "Берите пример с гвардии сержанта такого-то!" Такие "Боевые листки" пользовались большим успехом. Герои потом забирали их себе и свои портреты посылали домой либо любимым девушкам.

Я долго ломал голову над тем, как ударить по бледной спирохете. И вот на ум пришли слова любимого поэта моей юности В.Маяковского, который когда-то "вылизывал чихоткины плевки шершавым языком плаката".

Подражая великому поэту и художнику, я решил "шершавым языком плаката" пройти по сифилису. На бланке "Боевого листка" я изобразил целый плакат под названием "Бледная спирохета — оружие врага!" Для пущего страха бациллу я изобразил в виде отвратительного дракона, которого держит на цепи вражеская рука с фашистским знаком.

Этот "Боевой листок" не только в нашей роте, но и во всем полку пользовался необычайной популярностью. Его даже перепечатала дивизионная многотиражка. Конечно, в первую очередь, была отмечена работа нашей политчасти, но и меня не обошли — представили к медали "За боевые заслуги".

Казалось бы, такая удача открывала путь к дальнейшей карьере. Окрыленный успехом, я думал над следующим "Боевым листком", где решил пройти "шершавым языком" по трипперу. Но, как это у меня всегда бывало, за успехом последовал срыв. Читатель, вероятно, помнит, как печально окончился мой первый опыт в области политической сатиры на Переведеновке. И снова подвел товарищ Сталин. Где-то в высоких политинстанциях (чуть ли не в Главном политуправлении), куда занесло мой "Боевой листок", в нем обнаружили грубую идеологическую ошибку, пропущенную нижестоящими политорганами. Их внимание было обращено, главным образом, на солдатский член в зубах у бледной спирохеты, а тот факт, что в заголовке рядом с этой непристойностью присутствует изображение товарища Сталина от их внимания ускользнуло. В итоге у нас в дивизии полетело два редактора со своих постов за политическую близорукость: редактор дивизионной многотиражки "За родину, за Стали-

на!" и редактор ротного "Боевого листка", то есть — я. На мою должность назначили Нюрочку, которая рисовать совсем не умела, но зато сочиняла стихи. Первое ее произведение начиналось так: "Моральный облик повышай, спирохету убивай".

Между тем, мой удар по бледной спирохете почему-то привел к противоположному результату — саперная рота стала нести от нее все большие потери. Как от нее, так и от "канарейки". И счет им открыл не кто иной, как "сын полка" Жорка! Мильт, разоблачив его и предварительно выпоров ремнем, свез его в медсанбат, откуда тот вернулся лишь месяца через два. Но, видимо, ни Мильтов ремень, ни скипидарная инъекция ему впрок не шли. В следующий раз он ухитрился подхватить где-то бледную спирохету и выбыл с ней в госпиталь.

Следом за Жоркой два лучших сержанта поймали по "канарейке", затем в венерический госпиталь выбыли наш помкомвзвода и ездовой из хозяйчейки, за ним ординарец инженера, за ординарцем — самый опытный минер... Семнадцать процентов личного состава потеряли саперы на Третьем фронте.

А как обстояло дело в стрелковой роте? В последние месяцы войны, когда я там находился, обстановка на Третьем фронте резко изменилась, так же, как это произошло с Румынией и Болгарией, повернувшими оружие против фашизма. Из союзника врага Третий фронт превратился в ударную силу, обеспечившую нашу победу.

К этому времени в стрелковых частях с личным составом создалось тяжелое положение. Иной раз, вместо пехоты, фронт приходилось держать артиллерии: если бы противник был в состоянии нанести нам контрудар, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. И тут ввели в действие колоссальные резервы Третьего фронта, находящиеся на излечении в "наркомздраве". Венбольные были брошены в бой, что сыграло свою роль в разгроме фашистского врага.

Например, наш стрелковый батальон последнее время выполнялся в значительной степени именно за их счет. Вначале были сложности — здоровые солдаты не хотели находиться вместе с сифилитиками и больными гонореей, опасаясь заразы. Проводились политбеседы, в которых разъяснялось, что враг специально раздувает панику и сеет страх перед венерическими болезнями, чтобы подорвать боеспособность советских войск. Советская медицина с успехом их излечивает, и ничего страшного нет. А от больных заразиться нельзя — зараза, мол, не передается через котелок, а лишь через бабу. Но большинство здоровых солдат было заражено предрассудками на этот счет, и, чтобы поднять моральный дух войск, командование произвело переформирование, отделив здоровых от больных. Во второй роте, где я был писарем, оказались одни сифилитики, которых пообещали после победы вернуть на дальнейшее излечение. Несмотря на это, они были очень недовольны.

— Мы товарищу Сталину напишем, чтобы он знал, как с нами поступают! — возмущались сифилитики. — Больных не имеют право посылать на передовую, нет такого закона! Пусть сперва вылечат!

У них был старший — танкист Барзунов, который писал жалобы и в политчасть ходил, пытался что-то доказать.

— Почему здоровый может погибать за родину и товарища Сталина, а сифилисный — нет? — спрашивал его начальник штаба батальона лейтенант Степанов, носивший всегда пистолет за поясом.

Однажды Барзунов отказался подчиниться приказу лейтенанта, и тот застрелил его на глазах у всей роты.

Но в общем, наши сифилитики воевали не хуже других. Бойцы Третьего фронта наверняка сражались и в войсках, штурмовавших Рейхстаг и водрузивших над ним знамя победы.

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ

БОЕВОЙ ЛИСТОК

ОРГАН *санитарной роты*

№ 7 "1" 1945 г.

БЛЕДНАЯ СПИРАХЕТА
ОРУЖИЕ ВРАГА!



ДЕЛО АНАРХИСТА КРОПОТКИНА

Победу я встретил в выздоравливающем батальоне, но, разумеется, даже тут у меня не обошлось без ЧП — я уже подчеркивал, что у меня все получалось не как у людей. Когда, на радостях, шла повальная пьянка, я сидел под арестом в подвале комендатуры в весьма приятном обществе сдавшихся в плен немецких солдат и изловленных полицейских, а также членов городской управы, встречавших хлебом-солью советские войска.

Что же такое стряслось в этот день, навсегда вошедший в историю человечества, когда ликующие толпы заполнили улицы и площади Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Парижа; когда столица нашей родины салютовала воинам-победителям, а Великий Вождь и гениальный полководец всех времен и народов товарищ Сталин поздравил советский народ с победой? Как удалось коварному врагу в такой момент подбросить в нашу бочку меда свою гнусную ложку дегтя?

Конечно, мне, рядовому солдату выздоравливающего батальона, случайно оказавшемуся свидетелем этой вылазки врага, результаты расследования не могли быть известны. Я только знаю, что расследованием этого дела занимались не какие-нибудь оперы, вроде нашего Скопцова или Зяблика, а полковники и генералы, неожиданно нагрянувшие в трофейных "Мерседесах".

Меня выписали в выздоравливающий батальон, когда война подходила к концу. Сводки Совинформбюро сообщали о боях за Рейхстаг, и в госпитале уже готовились обмывать победу. Компании придурков запасались впрок спиртным и закуской — великий день вот-вот должен был наступить. Во всех корчмах места заранее были забронированны.

И в этот решающий момент вдруг пришел приказ переходить на новое место. Госпиталь перебрасывали "вперед, на Запад!", поближе к фронту. Как растревоженный улей загудел наш "выздоровливающий", который должен был двигаться на новое место первым. Естественно, начали обмывать

расставания и прощания. Добрая половина прекрасного пола Бяля Бельска вышла нас провожать. И батальон пополз со скоростью черепахи, не укладываясь ни в какие графики. И вот начальство, чтобы успеть подготовить место, послало вперед небольшой авангард под командой коменданта госпиталя. Конечно, комендант набрал в команду прежде всего кантовавшихся в выздоравливающем батальоне придурков. Я туда попал по протекции Васьки и Сашки. При этом команда не топала пехом, как все, а добиралась до места на попутном автотранспорте, для удобства разбившись на мелкие группы.

Народ уже был прилично поддавший на проводах. В нашей команде оказался непонятно откуда взявшийся моряк с баяном, так что мы не скучали, пока добирались до сборного пункта.

Комендант встречал всех подъезжавших у развилки шоссе, одна из которых вела в город Тржинец, согласно дорожному указателю, находившийся в 23 километрах.

Туда нам и надлежало следовать.

Из начальства за старшего с нами пошел только сержант, а комендант и другие офицеры отправились к регулировщицам на блядоход, пообещав завтра утром подскочить в Тржинец на попутной машине и ждать нас на КПП*.

Но мы прибыли в город не к утру, а лишь под вечер. Пока шли, команда наша не пропускала ни одной придорожной корчмы. Заночевали мы в городке, где не оказалось ни одной живой души. Дома стояли полные добра и всевозможных припасов, шнапса, вина и пива. Уж там-то мы попиروвали!

Если бы не хмель, то, конечно, мы бы обратили внимание на то, что дорога совершенно безлюдна и мост перед городом взорван. Но пьяному, говорят, и море по колено, не то что речушка.

Водную преграду мы форсировали на "ура" и с разудалой песней под баян вступили в город Тржинец. Моряк почему-то затянул "Песню военных корреспондентов", особенно любимую всей придурочной братией за ее припев:

*Контрольно-пропускной пункт на дорогах в прифронтовой полосе.



Эх, с наше повоюйте,
С наше покочуйте...

Мы и не подозревали, распевая во все горло: "...С ручкой и блокнотом, а то и с пулеметом первыми врывались в города...", что мы и вправду являемся "первыми советскими войсками", вступившими в этот город. Правда, пулемета у нас не было — на сорок человек был только один автомат у сержанта. Откуда мы могли знать, что из-за штабной неувязки госпиталь был направлен в город, еще не освобожденный от врага? Лишь позже выяснилась причина этого недоразумения: город оказался на стыке двух армий и из-за нарушения взаимодействия оказался обойденным наступавшими советскими частями. Да наша придурочная команда и на пушечный выстрел не посмела бы приблизиться к нему, знай мы, что в нем засели вооруженные до зубов подразделения фолькштурма.

На наше счастье, немцы отступили из города в тот самый момент, когда мы под баян бесстрашно форсировали водную преграду. Единственной опасностью, которую некоторые из нас все же сознавали, в том числе и я, была встреча с комендантским патрулем. Всю нашу нетрезвую компанию он мог бы отконвоировать на губу. Поэтому, вступив в город, мы для порядка разобрались в строй, с воодушевлением продолжая пение.

Судя по восторженной реакции местных жителей, наши песни им очень нравились, а мы уж, конечно, старались во всю: мол, знай наших.

— Держись, паненки — "выздравбат" идет! — кричал моряк, наяривая на баяне.

Мы вышли на большую площадь, запруженную сбежавшимся со всех сторон народом. Путь нам преградила трибуна, обтянутая наспех красной материей и украшенная портретами и флагами. В первую очередь всем бросился в глаза большой портрет товарища Калинина в массивной золотой раме, а уж потом портрет товарища Сталина, вырезанный из старой газеты и наклеенный над ним.

Все это было так неожиданно, что мы даже немного оторопели. Строй наш смешался, и песня оборвалась.

— Братцы, вроде не туда зашли? Поворачивай оглобли! — кричал моряк.

Но тут суетившиеся у трибуны цивильные двумя группами направились к нам. Каждая несла по караваю хлеба на белых рушниках. На одном рушнике было написано на скорую руку "Міласти просемъ", а на другом — "Дабро пажаловат". Мы еще больше растерялись, но выручил всех Срулевич, бывший генеральский парикмахер, когда-то раненный в задницу (он видел не раз, как генералу подносили хлеб-соль).

Выйдя вперед, он принял буханки и расцеловался с отцами города, после чего, смахнув слезу, прямым ходом полез на трибуну.

Только тогда мы поняли, что это ведь нас встречают! Об истинной причине столь торжественной встречи никто не догадывался. Все решили, что население захотело уважить нас, как раненых бойцов, проливших свою кровь в боях с фашизмом. Многие спяну так расчувствовались, что даже заплакали. От избытка чувств моряк стал бить себя в грудь и материться.

Пока Срулевич, как полагалось в подобных случаях, трепался о международном положении, все оживленно рассматривали шикарный портрет всесоюзного старосты.

— Вон какой почет Михал Иванычу за границей! — с гордостью говорили солдаты.

Чем-то родным и домашним веяло от этого портрета, напоминавшего о мирных довоенных днях. Во время войны о всесоюзном старосте почти и не вспоминали, он даже никакого воинского звания не имел.

В общем, как-то так само по себе произошло, что всесоюзный староста на этом стихийном митинге оказался в центре всеобщего внимания. И когда Срулевич, сообщив с трибуны о том, что он представлен к званию героя за то, что прикрыл своим телом генерала во время бритья, провозгласил здравицу в честь товарища Калинина, все дружно грянули "Ура!"

Моряк с возгласом: "Михал Иваныч, родимый ты наш!", полез на трибуну прямо с баяном.

— Граждане и гражданочки, братья и сестры, примите пламенный краснофлотский привет от лица всего экипажа тральщика "Калинин" в моем лице, — начал он и закончил свое выступление песней "Любимый город может спать спокойно", которой бурно зааплодировала вся площадь.

Затем выступил один портной, он оказался земляком Михаила Ивановича, происходил из Калининской области. Его стали качать на радостях.

Я тоже выступил с небольшим предложением, которое, однако, вызвало такую бурю восторга, что, наверное, с полчаса все не могли успокоиться: площадь, на которой происходил митинг, я предложил назвать в честь Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Калинина. Когда все высказались и воздали Михаилу Ивановичу должное, подошел черед городских властей благодарить нас за освобождение города от фашистов. Вот тогда-то мы разинули рты и мгновенно отрезвели.

— Братва, — обратился к нам моряк, — раз такое дело — сматываемся отсюда, пока не поздно... Если немец пронохает, что мы из выздоравливающего, да еще безоружные — нам хана! Немцы вернутся и перебьют нас, как котят.

Срулевич заявил, что за взятие города нам полагается геройское звание, поэтому отступать нельзя. Он явно метил в дважды героя.

— Нас...ть я хотел на твои звания, мне жить охота! — возразил ему моряк.

Мы зашли в оставленную немцами комендатуру, и команда, как самого грамотного, выбрала меня исполняющим обязанности коменданта города. После чего пошли "отмечать" дальше. Прибытие в город советских и чехословацких частей мы проспали. Проспали мы и приезд в город закрытых машин с вооруженной охраной.

Проснулся я среди ночи от стрельбы. На улице было светло, как днем, от сигнальных ракет, взлетающих над городом во всех направлениях. Сквозь беспорядочную пальбу слыша-



лись истошные крики. В доме не оказалось ни души — ни радушных хозяев-чехов, ни наших ребят — меня занесло в одну компанию с моряком, Срулевичем и сержантом, но я раньше всех вышел из строя и очутился под столом.

С похмелья я перепугался не на шутку, решив, что немцы ворвались в город и все бежали, бросив меня одного.

Я бросился прочь из дома, но в дверях столкнулся с каким-то лейтенантом и двумя солдатами с винтовками. Это были наши.

— Товарищ лейтенант! Ребята! Что стряслось? — закричал я. — Почему стрельба?

— Брось дурочку валять! Какой части? Как фамилия? — отбрил меня лейтенант.

— Рядовой 2-ой роты выздоравливающего батальона Ларский! — ничего не соображая доложил я.

— Тебя-то нам и надо. Обыскать его! — приказал он солдатам.

Без ремня и обмоток меня повели под конвоем сквозь ликующую толпу.

— Виват! Ура! Победа! Да здоровствует товарищ Сталин! — кричали военные и гражданские, обнимаясь, целуясь и выпивая прямо на улице.

И тут до меня дошло.

— Победа! Ура! — заорал я, как оглашенный, и, не помня себя, рванулся было в толпу.

— Ни с места! Отставить разговоры! — крикнул лейтенант.

Совершенно обалдевшего меня впили в подвал, где среди арестованных находилась почти вся наша команда.

Чувствую, что пришло время прервать повествование и объяснить, что же произошло в городе Тржинец в канун дня победы. Почему в самый разгар веселья прибыли следователи по особо важным делам? Какое событие привело к неожиданным массовым арестам?

Думаю, что подобного ЧП не знала не только история Великой Отечественной войны, но и вообще советская история. Как установили органы, личность, изображенная на портрете в позолоченной раме, оказавшаяся в центре внимания

нашего стихийного двухчасового митинга, никакого отношения к Михаилу Ивановичу Калинин не имела. Более того, эта личности злонамеренно (видимо, в провокационных целях) выставленная рядом с товарищем Сталиным, не имела отношения ни к ЦК нашей партии, ни к советскому правительству. Но зато, как установили органы, не исключена возможность, что нити вели к белогвардейскому подполью и окопавшемуся в Лондоне правительству Миколайчика.

КАК УСТАНОВИЛА СОВМЕСТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КРИМИНАЛИСТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МГБ И СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ, РЯДОМ С ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ БЫЛ ВЫВЕШЕН ПОРТРЕТ АНАРХИСТА КРОПОТКИНА!

ЧП было настолько вопиющим, что следствие не считало даже возможным упоминать фамилию отца русского анархизма, а при допросах употребила формулу "портрет неизвестного лица".

Почему-то в связи с этим портретом таскали больше Срулевича.

— Срулевич, напрасно отпираетесь, мы все знаем! — слышал я за дверью крик следователя, ожидая своей очереди.

Позже Срулевич мне рассказал, что еще немножко, и он бы подписал признание в том, что он завербован международным анархистским центром и через его агентов эмигрантским правительством Миколайчика.

В разгар допроса Срулевича я с ужасом вспомнил, что Михаил Иванович был не при галстуке, как он обычно на всех портретах изображался, а в черной "бабочке"!

Но я вовремя понял, что если я поделюсь своими наблюдениями со следователем, меня упекут подальше, чем Срулевича, за потерю бдительности. И на вопрос лейтенанта, чем-то напоминавшего Мильта, с чего это мне вдруг взбренилось назвать площадь в честь Калинина, я ответил: "Так ведь на митинге портрет Михаила Ивановича висел".

— Мы те покажем такого Михаила Ивановича! Приволокли врага народа да еще рядом с товарищем Сталиным повесили!

После допроса нас загнали в подвал и неизвестно, сколько бы мы там просидели, если бы вдруг не ожил мертвецки пьяный моряк и не потребовал, чтобы его отвели в галюн.

На него зашикали со всех сторон и попытались урезонить, мол, дело шьется с Кропоткиным и Калининным.

— Да е...л я вашего Кропоткина вместе с Калининным! — заорал он и ударил с такой силой в дверь, что она вылетела.

Часовых у двери не оказалось. Выйдя из подвала, мы обнаружили, что опергруппа, расследовавшая ЧП, уехала в неизвестном направлении, не оставив после себя никаких следов.

Чем кончилась история с Кропоткиным я не знаю, но поговаривали, что в городе Тржинце начались повальные аресты, и вскоре три эшелона поляков было отправлено в Сибирь.

Продолжая повествование, не могу не коснуться вопроса, который дорог сердцу каждого советского патриота (и который не раз поднимал наш родной ЦК в своих постановлениях "О мерах по упорядочению торговли спиртными напитками"). Как ротный писарь-каптенармус, я не берусь судить о роли этого фактора в масштабе всей Великой Отечественной войны. Но, судя по воспоминаниям таких выдающихся военачальников, как генерал-лейтенант Хрущев, полковник Брежнев и другие, даже в Ставке этот фактор имел не последнее значение.

Что же касается фронта и тыла, то, подчеркивая значение спиртного фактора, я хочу поправить друга моего детства Карла Маркса, выдвинувшего свою знаменитую формулу: "товар—деньги—товар".

В военное время эта формула выглядела так: "товар—водка—товар".

За водку во время войны можно было получить все. Если говорить серьезно, власть любого ротного придурка держалась именно на ней. Старшина Мильт знал, по меньшей мере, 12 способов добывания водки, из которых самым честным был недолив. Основной боевой задачей старшины было обеспечение выпивкой капитана Семькина. А капитан, в свою очередь, угощал "Рыбку ищет", полкового инженера Полежаева, парторга полка Ломаську и других нужных людей.

Но основной поток спиртного к полковому начальству поступал из стрелковых рот опять же через посредство придурков. Как известно, товарищ Сталин в своем гениальном труде "О Великой Отечественной войне Советского Союза" назвал массовый героизм одним из решающих факторов победы. Этому была подчинена вся политико-воспитательная работа в армии. Хотя Ставка и верила во всепобеждающую силу марксистско-ленинских идей, но про себя хорошо знала, что без ста граммов сорокаградусной никакая идея массами не овладеет. Но придурки, осуществлявшие живую связь с массами, полагали, что тут достаточно и тридцатиградусной, и по всем фронтам шел бурный процесс разбавления водки. Таким образом, создавались дополнительные источники для обеспечения всевозможного начальства.

Я, к примеру, будучи писарем в стрелковой роте, имел производственную задачу — добыть для начальства, как минимум, полбидона водки. И попробуй я ее не выполни! Тут дело было посерьезней, чем с донесениями, которые от меня требовал "Рыбка ищет". Старший писарь батальона Гурьев, принимавший от меня "продукцию" для начальства, любил втолковывать мне известную в армии поговорку: "Не умеешь — научим, не хочешь — заставим". Что это значило применительно к придуркам, понимал каждый.

В душе я решительно протестовал против этого, но смелости выступить открыто у меня не хватало. И однажды с горя я так хлебнул из бидона, что не помню, что со мной произошло. Говорят, я заявился к командиру полка майору Кузнецову и сказал, что напишу лично товарищу Сталину. На мое счастье, он сам в этот момент лыка не вязал, долго смотрел на меня оловянными глазами, наконец, спросил: "Из какой роты?" и, рыкнув, уснул, а меня куда-то утащили от греха подальше.

Я уже рассказывал, к какому политическому ЧП, едва не окончившемуся ГУЛагом, привела водка меня и других солдат выздоравливающего батальона. Но пусть читатель не думает, будто я собираюсь обрушиться в своих мемуарах на водку — это славное горючее войны. Как, впрочем, и в борь-

бе за успешное выполнение величественных задач по мобилизации трудящихся.

Широко известна формула коммунизма "от каждого по способностям — каждому по потребностям". Но пока еще невозможно удовлетворить всесторонние потребности в таких редких продуктах, как молоко, мясо и масло, есть полный резон уже сегодня применить эту формулу к славному горючему коммунистического строительства. Где, в каком томе у Маркса или Ленина сказано, что на рыло надо давать только по сто пятьдесят граммов? Кто из классиков марксизма завещал открывать торговые точки лишь в 11 часов утра?

Применение принципа коммунизма к славному горючему помогло бы раскрыть творческие силы масс и приблизить человечество к сияющим вершинам, куда Владимир Ильич Ленин всем нам указывал пальцем с непостроенного Дворца Советов.

...Победу, наверное, отмечали бы без конца, но на четвертый день вышел строжайший приказ прекратить пьянку и восстановить по всей армии порядок.

Госпитальное начальство постаралось поскорей избавиться от нашей команды, первой вступившей в город Тржинец, поскольку мы оказались причастными к какому-то ужасному ЧП, о котором толком никто ничего не знал. Нас послали в запасной полк, но война кончилась, и, горлая песни под баян, мы теперь направлялись не ближе к фронту, а ближе к дому.

В запасном полку мы застали такую картину, что подумали было — чудится с перепою!

В центре расположения полка стояла огромная полевая баня, в которую, топя подкованными сапогами, шли потоком немецкие солдаты с шевелюрами, а выходили из бани... наши "иваны", оболваненные под нулевку, в обмундировании "б.у." и обмотках. По команде они строились и с песней "Красноармеец был герой на разведку боевой" расходились по своим подразделениям как ни в чем не бывало. Все это происходило на наших глазах, прямо, как в цирке. Это была самая забавная метаморфоза, которую я только видел на

фронте, были это не немцы, а блудные дети — власовцы, которые вновь вливались в ряды родимой армии.

Когда я прибыл в свой полк, у нас этих "бывших" было полным-полно, и они наивно ожидали скорой демобилизации. Однако комедия переодевания в советскую форму "б.у.", конечно, окончилась трагедией. Когда наш полк вернулся из Чехословакии в Закарпатье, власовцев быстренько переодели из солдатской формы в арестантскую.

Это двойное переодевание оказалось блестяще проведенной СМЕРШем операцией, благодаря которой десятки тысяч "блудных детей" не выскользнули из железных объятий родины-матери. Надо сказать, что во время победного возвращения некоторые власовцы, политически более подкованные — бывшие коммунисты и комсомольцы — пытались дезертировать на Запад. Из нашей роты тоже ушло двое бывших политработников. Другие надеялись на прошлые заслуги в рядах Советской Армии и первым делом принялись писать в Президиум Верховного Совета СССР. Но все их слезные послания попадали, разумеется, не к всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинин, а к нашему полковому особисту капитану Скопцову.

Наверное, единственными власовцами — из числа вернувшихся на родину, которых не упекли в "Архипелаг", — были наши ишаки, попавшие в плен в Карпатах вместе с Мамедиашвили. На этот раз Особый отдел решил не перегибать палку и не зачислять их в категорию изменников родины. Под их маркой как-то чудом проскочил и сержант Мамедиашвили.

ЭПИЛОГ

Кончилась война. Выполнив свой долг перед родиной, я решил демобилизоваться, поскольку во время войны был признан непригодным к военной службе и получил "белый билет". Однако гарнизонная медкомиссия, когда во всем мире уже смолкли пушки, признала меня симулянт.

— За что вы получили медаль "За отвагу"? — спросили меня.

— За высоту 718. Вырвались из вражеского окружения! — доложил я, не понимая, к чему комиссия клонит.

— А орден "Славы" за что?

— За Карпаты. Был контужен в бою, но не покинул строя!

— Орден Красной Звезды тоже получили на передовой?

— Так точно! Заменял раненого командира, — отрапортовал я, из-за близорукости не различая лиц членов комиссии.

Комиссия, посоветовавшись, объявила решение:

— Рядовой Ларский, 1924 года рождения, признан годным для прохождения строевой военной службы в рядах Советской Армии!

Но, случайно попав в засаду к бендеровцам и оказавшись вновь в "наркомздраве", я все-таки демобилизовался и прибыл по месту жительства, на Центральный проезд, дом №4, в город Москву.

Прощай, армия, прощайте, фронтовые придурки, да здравствует мирная жизнь и, как поется в песне, да здравствует солнце, да здравствую я — студент Полиграфического института!

И тут — неожиданно повестка в военкомат по какому-то наградному вопросу. Дежурный провожает меня в подвал, где за столом сидит плечистый, в шевиотовом костюме человек с квадратным подбородком.

— Будем знакомы! Сотрудник органов, допустим, Петров, — представился он и бодрым голосом продолжал, — ну как, солдат, отдохнул? Пора и за работу — родина зовет.

— Извините, я демобилизовался. Я не хочу...

— Если бы каждый так рассуждал "хочу-не хочу", советская власть долго бы не продержалась. С нашего фронта советских патриотов не демобилизуют!

История о том, как я дезертировал с "невидимого фронта" — это уже тема другой книги. Я же заканчиваю свои мемуары, которые, отнюдь, не претендуют на полноту охвата гигантской панорамы войны, а лишь частично показывают ее будничную сторону под углом зрения рядового советского

придурка-идеалиста — продукта своего времени. А подвиги героев пусть лучше описывают настоящие вояки, ходившие в атаки и контратаки.

Читатель, побывавший на фронте, может сказать, что он и сам написал бы не хуже, а, может, и получше, если бы постарался. Не спорю и желаю ему всяческого успеха. Кто знает, может быть, наши труды не пропадут даром и даже представят интерес для потомков, дополняя мемуары руководящих деятелей? Ведь как справедливо подчеркивал директор школы Михаил Петрович Хухалов: "Историю делают не всякие там людовики-мудовики, историю делают трудящиеся и служащие".

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

«КОНТИНЕНТ» № 16

Содержание

Стихи современных украинских поэтов.

В переводах Игоря Качуровского.

Виктор Ворошильский — Венгерский дневник.

СТИХИ

Виолетта Иверни, Вадим Делоне, Лия Владимирова

Феликс Кандель — "Это не телефонный разговор..."

СТИХИ ПОЭТОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Валерий Перелешин, Игорь Чиннов

Владимир Максимов — "Ковчег для незваных" (глава из романа).

Генрих Сапгир — Из книги "Сонеты на рубашках"

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Борис Парамонов — Мальчик против мужа

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Вацлав Белоградски — Литература как критика банального зла

Польский Аноним — Нация — религия — миссия — ответственность

ЗАПАД - ВОСТОК

Андрей Сахаров — Ядерная энергетика и свобода Запада

Энцо Беттица — Еврокоммунизм и Грамши

ИСТОКИ, ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ. КОЛОНКА РЕДАКТОРА, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ, КОРОТКО О КНИГАХ, ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Главный редактор журнала — **ВЛАДИМИР МАКСИМОВ**

Представитель в Израиле — **Михаил Агурский**. Рамот, 6/30, Иерусалим.

"Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ, пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ, включая пересылку.



A. Neimanis-Buchvertrieb

Bauer Str. 28 — 8000 München 40
GERMANY

Tél. 37-05-34

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Несмотря на молодость, Михаил Бурджелян, с работами которого мы знакомим читателя, вызывает весьма горячие споры ценителей искусства. Не удивительно, что многие из них по-своему истолковывают замыслы и манеру художника. Поэтому мы и решили в этом номере познакомить читателя с двумя взглядами, точнее с двумя подходами к оценке работ Бурджеляна. Галина Келлерман в своем коротком эссе стремится оценить художника на эмоциональном, чувственном, что ли, уровне. Это живое непосредственное восприятие его работ. Наталия Агроскин пытается рассмотреть их с позиций критика и определить место автора в рамках художественных традиций.



ЖИВОПИСЬ МИХАИЛА БУРДЖЕЛЯНА

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ СОН...

Первое впечатление от картин 33-летнего Михаила Бурджеляна — удивление. Он рисует предметы, которые никогда прежде, кажется, не были объектом для живописцев, — флаконы духов и коробки шоколадных конфет. Большие картины, написанные маслом, яркие бордовые, вишневые, темно-алые тона, золото на боках коробок, и вдруг насыщенный электрик обертки дорогого мыла.

Если искать определение жанра, картины Бурджеляна следует, наверное, назвать натюрмортами. Натюрморты привлекали живописцев в разные эпохи. Каждому знакомы аппетитные рыбы, потрошенные зайцы, сочные кисти винограда и нежные персики. Но вы быстро начинаете чувствовать, что картины Бурджеляна — не просто мастерски написанные натюрморты.

Вы всматриваетесь в эти картины и чувствуете, как попадаете под их властную магию, когда хочется смотреть еще и еще, и нет сил оторвать взгляда. Быть может, дело в размерах, спрашиваете вы себя. Действительно, эти флаконы духов очень большие, нарисованные с явным увеличением, словно обычный предмет, который можно увидеть, если не на собственном туалетном столике, то в витрине любого магазина парфюмерии, и этот предмет вдруг отразился в увеличительном зеркале и заворожил...

Вы продолжаете всматриваться, и внезапно вас захватывает круговорот ассоциаций. Вы переноситесь в зал Большого театра или Гранд-Опера с вишневым бархатом лож и позолотой ярусов, или в Петровский зал Зимнего Дворца — ступеньки, ведущие к трону, покрыты темно-малиновым ковром, стены задрапированы красно-бордовой тканью, сам трон обит вишневым бархатом, а на спинке горит золотой герб. Нишу же, в которой стоит трон, обрамляют две колонны цвета электрик.

Ассоциации ведут в прошлое, в девятнадцатый или даже в восемнадцатый век, в мир театра, балов и прекрасных женщин в шелковых платьях, с обнаженными плечами и высокими прическами.

И вы начинаете вспоминать этих прекрасных женщин — "Мадам де Помпадур" Буше, "Туалет дамы" или "Собрания в парке" Ватто, "Записку" и "Бесполезное свидание" Фрагонара, нежных дам Роковата и Левицкого.

Вдруг приходят на память брюсовские строки:

Неверная, обманчивая ясность

Искусственного света

И музыки изнеженная страстность —
Зов без ответа.

Мельканье плеч, причесок, аксельбантов,
Цветов и грудей,
Шелк, вспышки золота и бриллиантов
На изумруде.

Но вот вы отходите от картин и подходите к окну в квартире художника. Вы смотрите на улицу, на унылые и зловещие желтые фонари автострады, на вырывающиеся желтым светом из мрака куски пустыни, застроенные бетонными коробками. Квиш Атаясим, Тель-Авив, душная жара.

И тогда вам начинает казаться, что вы попали в безумный сюрреалистический сон. Оба мира нереальны, не совмещаются, выпадают один из другого. Не состоит ли замысел художника в этом столкновении? Медленно, не сразу, начинает поступать за эротическими символами женщины — конфетами и духами — ироническая улыбка художника.

Галина КЕЛЛЕРМАН

...ИЛИ ПОЭЗИЯ В ЖЕМАННОЙ БОНБОНЬЕРКЕ

В иерусалимской лавке древностей собраны курьезы: старые пузатые флакончики из-под духов с невыветрившимся сладковатым запахом, коробки, наряженные пышными бантиками и ленточками, парфюмерные обертки с тисненными рельефами картин великих мастеров. Здесь отыскивает художник Михаил Бурджелян мишурную бутафорию своих натюрмортов.

Отбор предметов — пошловатых, сладеньких, розовато-малиновых тонов, надушенных дешевой цветовой аромой, купающихся в кружавчатой кайме (будто из дамского трельяжа или ридикюльчика начала века) — во многом предопределяет концепцию художника. Бурджелян создает визуальный образ, основываясь на использовании объектов-клише, несущих некоторую "художественную" функцию в силу пластичности, формы. Назначение этих парфюмерных атрибутов банально. Внутреннее противоречие в самой вещи художник использует, поэтизируя пошловатый будуарно-туалетный предмет до объекта подлинного "высокого" искусства.

Таким образом, эстетическая концепция Бурджеляна во многом близка поп-арту, особенно в его европейском варианте. Основное, как кажется, отличие Бурджеляна от поп-артистов в том, что его привлекает поэтизация пошлости, заключенной в рамках определенной художественной эстетики, а не "китч" массовой продукции — будь то реклама, товар супермаркета, комикс или политический лозунг.

Близость идеям поп-арта наиболее четко прослеживается в серии работ 1976 года, пародирующих искусство старых мастеров. Точно копируя на конфетной коробке пейзаж Гейнсборо или кающуюся Марию-Магдалину Тициана, Бурджелян с грустной иронией показывает меру деградации великой художественной традиции, ставшей "пастишем", шаблонной картинкой, оформляющей товар массового производства.

Однако, в отличие от художников поп-арта, создающих абстрагированный, формализованный образ реальных объектов, Бурджелян, работая в традиционной технике маслом на холсте, стремится к достаточно точному воспроизведению предметов. Но при всем этом было бы ошибочным видеть в живописи Бурджеляна лишь продолжение академической традиции салонного натюрморта. При сопоставлении с натюрмортами французского живописца 18 века Шардена становится очевидной современность соотношения между реальным и изображаемым объектом у Бурджеляна, выраженная прежде всего в условном решении пространства, перспективы, светотени и цвета.

В последних работах художника, близких гипер-реализму, условность изображаемой реальности передана наиболее последовательно.

По отношению к реальности объекты настолько огромны, гипертрофированны, что и натюрмортами в полном смысле слова их сложно назвать.

Итак, искусство Бурджеляна, используя лишь немногие живописные приемы академической школы, на самом деле к таковой не принадлежит, а напротив, в некотором смысле пародирует салонный академизм. Чувственность его живописи порой переходит в некоторое мистическое свойство, что находит выражение в двумерности времени. Это четко прослеживается в большинстве работ: с одной стороны, измерение настоящего, близкое поп-арту, гипер-реализму, с другой стороны, милый мир прошлого, французского салона конца прошлого века. Такая временная неадекватность, проникающая в пластику, несет на себе определенный налет мистического, символизирующий ностальгический поиск утраченного времени, тщетную попытку восстановить в настоящем полузабытые чувственные ощущения прошлого — прикосновения, запахи, вкус.

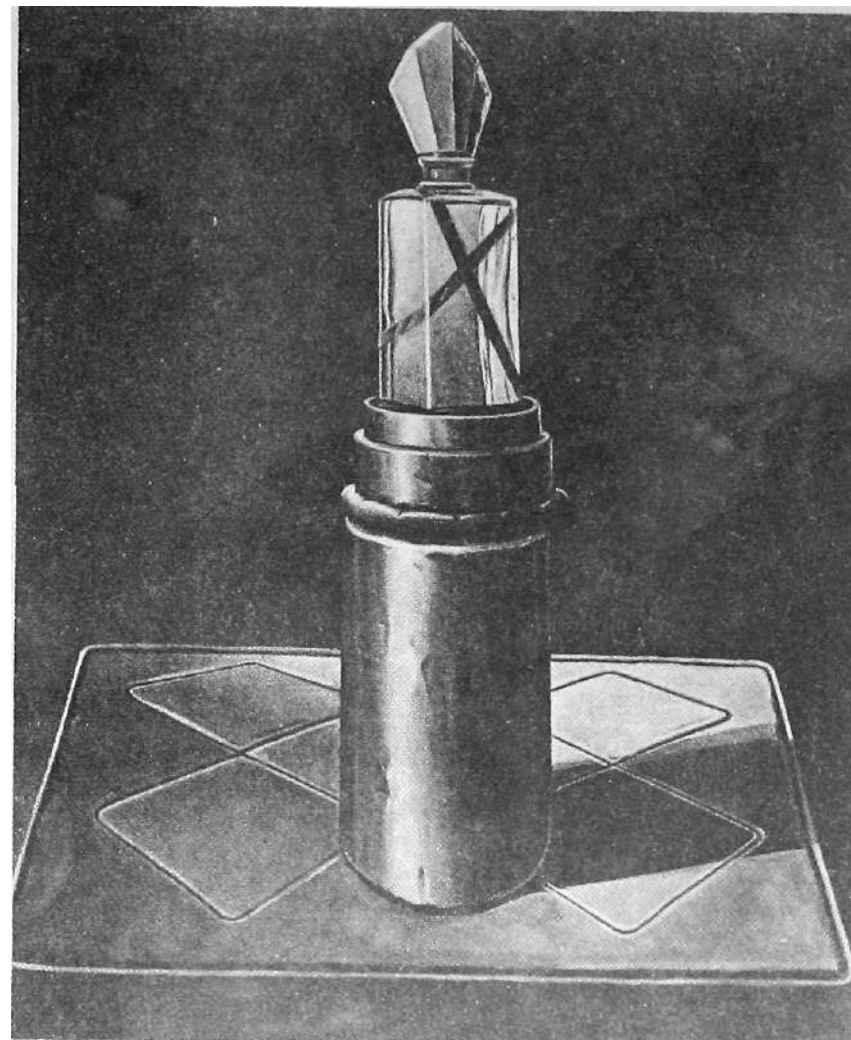
Ностальгические, неодушевленные предметы натюрмортов Бурджеляна порой очеловечены до такой степени, что обобщение вырастает в тотемный символ, как например, в одной из его лучших работ — "Флакон в бонбоньерке". На этом холсте огромный, золотисто-красный, торжественный фиал покоится в парчовой жеманной бонбоньерке, как напыщенный генерал в задрапированном гробу. Это уже не натюрморт, а портрет флакона на смертном одре, возвышающийся до мистического символа смерти и похоронного ритуала.

Этот визуальный символ, как кажется, во многом литературен, хотя и не иллюстративен. Обращенный в сторону Свана, наполненный поистине прустовским ощущением утраченного времени, он ностальгически романтизирует атласный блеск бантов, шуршание пышных фижм, струящееся сусальное золото "кружев брабантских манжет".

Наталия АГРОСКИН



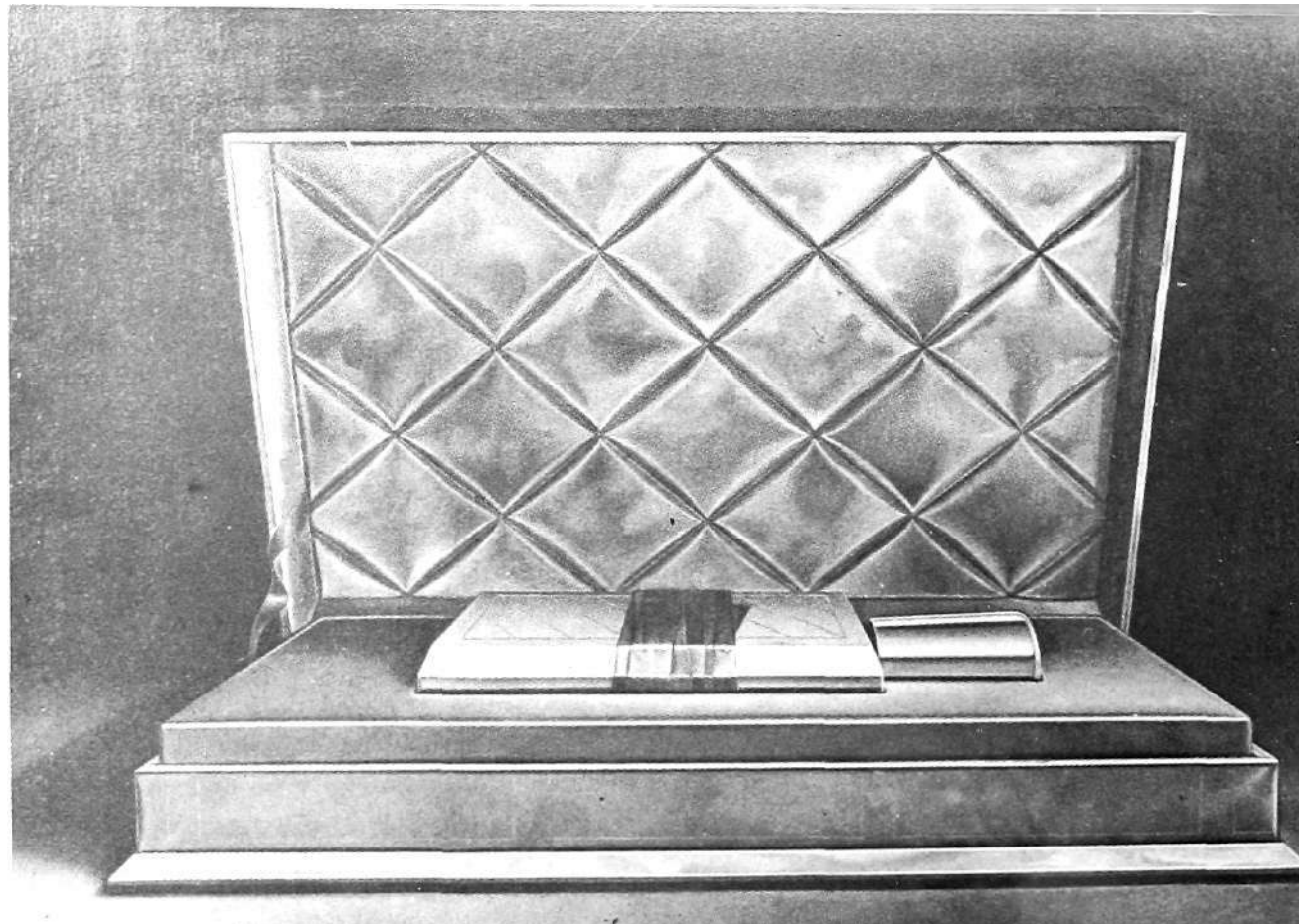
Три бонбоньерки. 1974. Холст, масло.



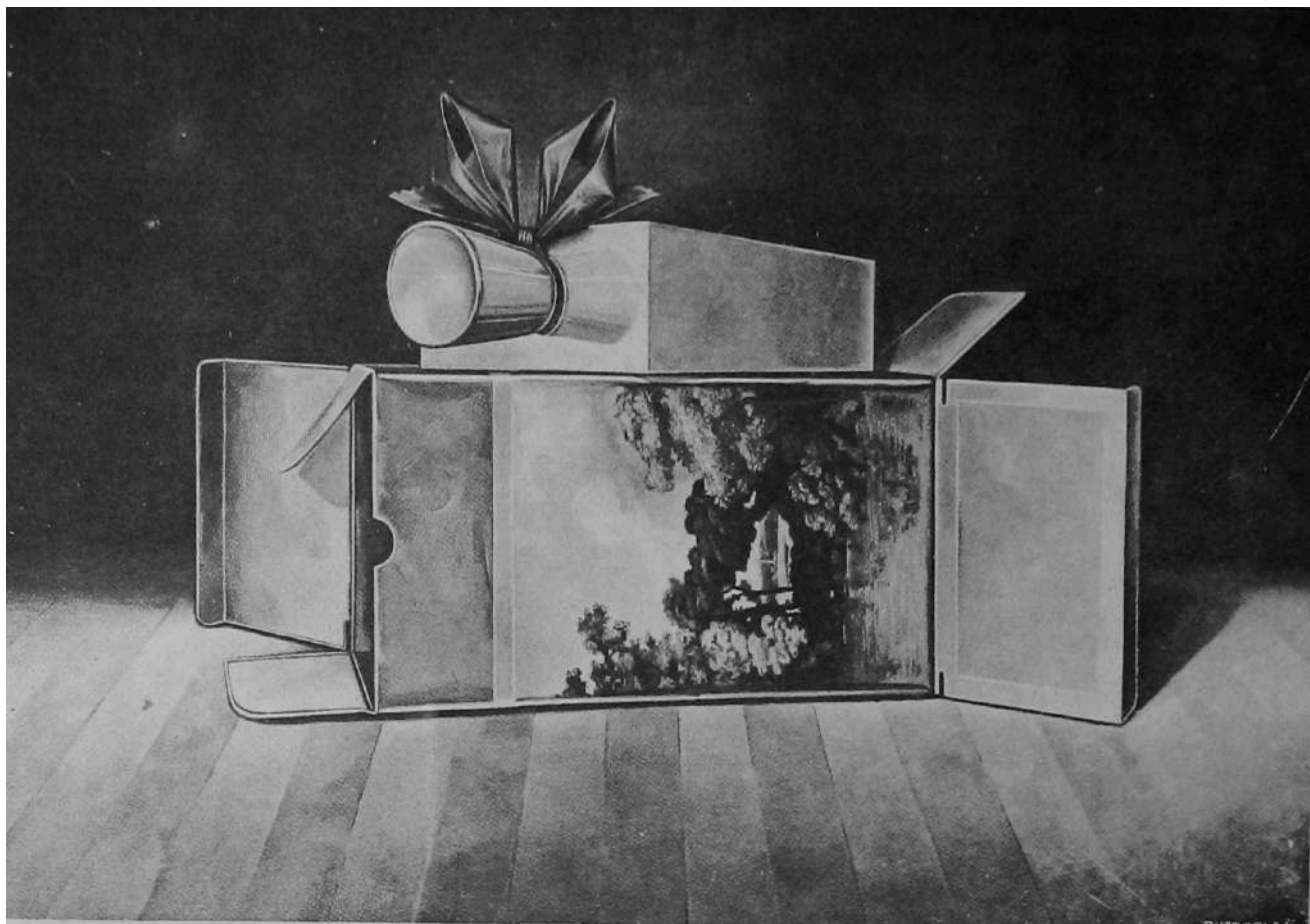
Башня. 1975. Холст, масло



Мария-Магдалина. 1977. Холст, масло.

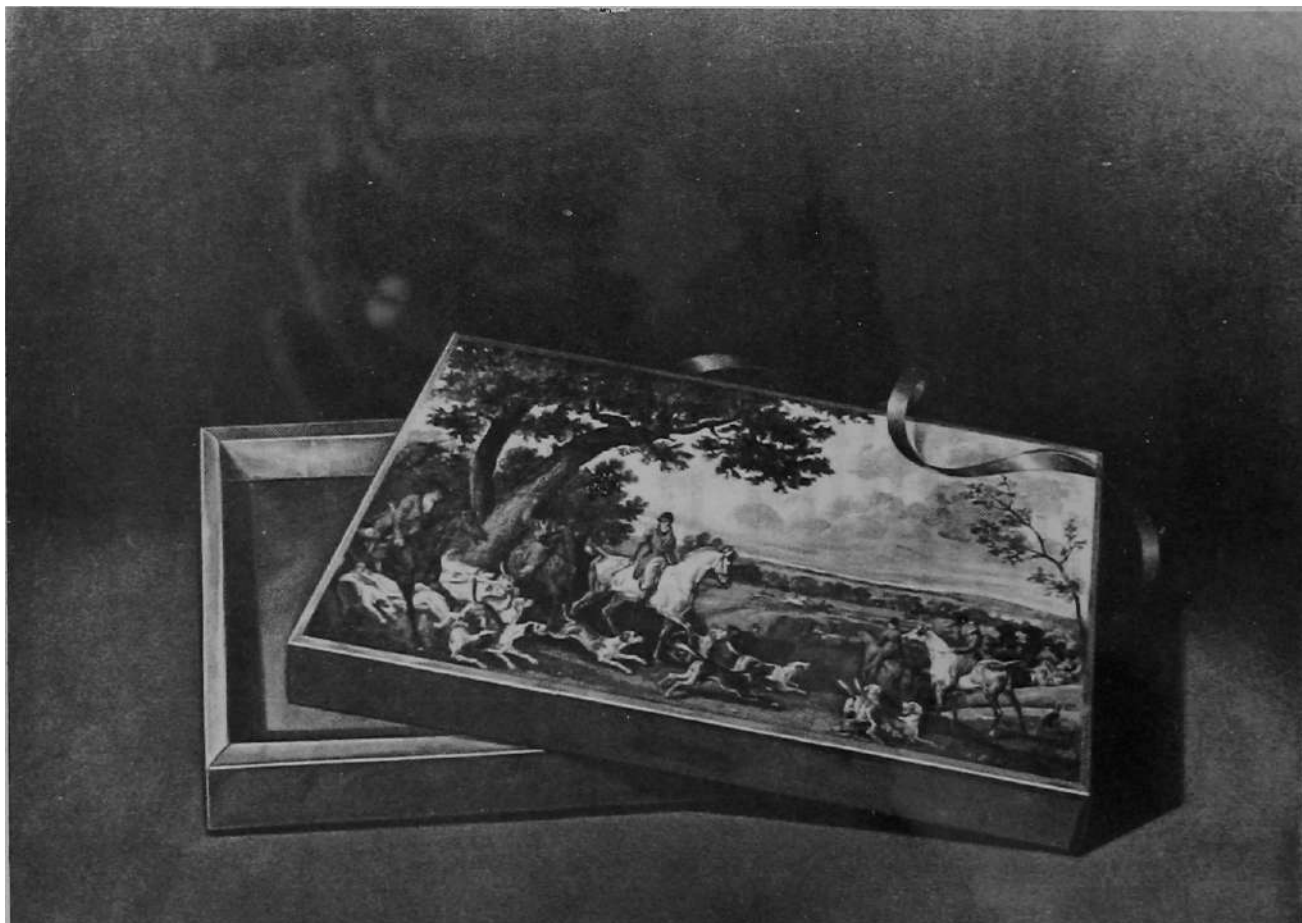


Красная бонбоньерка. 1977. Холст, масло.



Флакон с бантом. 1977. Холст, масло

Охота. 1977. Холст, масло



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Аркадий ЛЬВОВ. Писатель. Учился в Одесском университете. В 1946 году был исключен с мотивировкой: за клевету на советский народ и еврейский буржуазный национализм. Лишен был права продолжать учебу в высших учебных заведениях, в дальнейшем, однако, добился возможности закончить университет.

По окончании университета работал в средней школе преподавателем истории и русской литературы.

Опубликовал в СССР шесть книг, кроме того, в журналах, альманахах и газетах — более 200 рассказов, очерков, статей. Ряд рассказов переведен на английский, чешский, болгарский, польский языки.

В 1976 году эмигрировал в США. В настоящее время проживает в Нью-Йорке.

В 32 номере журнала "Время и мы" был опубликован рассказ Акадия Львова "Собеседование".

Илья БОКШТЕЙН. Поэт. Родился в 1937 году в Москве. Учился в Институте культуры. В августе 1961 года был арестован за публичные выступления на площади Маяковского. Отбыл в лагере пятилетний срок. В Израиль приехал в феврале 1972 года. В Советском Союзе Илья Бокштейн не публиковался, а в Израиле его стихи печатались в журнале "Сион", "Время и мы" и др.

Артур КЕСТЛЕР. Писатель. Родился в 1905 году в Будапеште. В двадцатые годы эмигрировал из хортистской Венгрии и в качестве корреспондента ряда западных газет побывал во многих странах. Участвовал в гражданской войне в Испании. С конца тридцатых годов навсегда поселился в Англии. Кестлеру принадлежат книги "Испанское завещание", "Подонки общества", "Ночные воры", "Девушки по вызову" и др. Он автор ряда широко известных работ по социологии, психологии и антропологии. Всемирную известность писателю принес роман "Тьма в полдень", переведенный на многие языки мира. В журнале "Время и мы" этот роман был впервые напечатан на русском языке. Кроме того, в журнале публиковались статьи Артура Кестлера: "Тропа динозавра", "Человек — ошибка эволюции", "Политические невроты".

Дора ШТУРМАН. См. журнал №30.

Лев Ларский. Родился в 1924 году в Москве. С 1941 по 1945 год участвовал в Отечественной войне. В 1952 году окончил Московский Полиграфический институт, художественно-оформительское отделение и работал художником в различных московских издательствах. В Израиль приехал в 1973 году. В 29-33 номерах журнала "время и мы" публикуется документальное повествование Льва Ларского "Здравствуй, страна героев!" (Из мемуаров ротного придурка).

КО ВСЕМ ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Редакция и Правление Фонда журнала "Время и Мы" обращается ко всем подписчикам и читателям в Израиле и за границей, ко всем библиотекам и университетам с просьбой внести посильный вклад в Фонд друзей журнала.

Журнал "Время и Мы" является независимым и не-субсидируемым изданием. Свою задачу редакция видит в том, чтобы способствовать развитию русской литературы за пределами Советского Союза, публиковать на своих страницах лучшие произведения русскоязычных писателей, живущих в Израиле, странах Запада и в России. Средства Фонда будут способствовать дальнейшему развитию журнала, они помогут редакции постоянно выплачивать гонорар авторам, установить связи с русским и еврейским Самиздатом России.

Взносы просим направлять по адресу редакции: ул.Нах-мани62, Тель-Авив. "TIME AND WE".

Или на банковский счет журнала:

Israel Discont Bdnk L.T.D., branch Akirja account 140317

Редакция приносит глубокую благодарность израильским подписчикам журнала, откликнувшимся на просьбу редакции: Айзенбергу, Ицхаку Берголю, Бигману, Софье Гольдман, Ицхаку Грузману, Борису Жидовецкому, Зарху, Лазарю Зихрони, Златкису, Юре Итину, Идельс, Кербелю, Кишеневской, Валерию Кукую, Левину (Хайфа), Левину (Герцлия), Шмуэлю Мизерухе, Юлию Манделю, Нимковской, Иосефу Нудельману, Асе и Рафаилу Райсерам, Григорию Тартаковскому, Леониду Фельдману, Шенкеру, Маше Штерман.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ"

выпускает сборник стихов московского поэта И. Гарика "Еврейские дацзыбао". Сатирические четверостишия, пародийные поэмы И. Гарика много лет распространялись в Самиздате, некоторые из них положены на музыку и стали достоянием современного советского фольклора. В сборник вошли поэмы "Обгусевшие лебеди", циклы стихов "Поздняя осень, жида улетели", "Вражеский голос ругает Отчизну" и другие юмористические и, малоизвестные в Самиздате философские стихи И. Гарика. Книга иллюстрирована карикатурами и фотоколлажами. Предисловие написано В. Раскиным-

Заказы принимаются по адресу: Tel-Aviv, P.O.B. 23121.

Цена в Израиле — 45 лир (с пересылкой).

За границей — 6 долларов.

В продажу книга поступит в августе 1978 года.

АЛЛА КТОРОВА "ЭКСПОНАТ МОЛЧАЩИЙ И ДРУГОЕ"

Книга Аллы Кторовой, такая московская, вполне могла выйти там (в СССР) в какую-нибудь очередную оттепель. Веселая, горькая, щедрая, умная книга. Сегодняшняя по языку, по образу мыслей, по сюжетам — и по разброду сюжетов, вольный диалог с читателем. Вольное русское слово. Просто голос — авторский, очень чистый, ни на кого не похожий. Голос, которому хватает дыхания, потому что он такой чистый. И множество, неисчислимо множество других, живых голосов, прямо с магнитофонной ленты, прямо из только что происходящего разговора. ...Женский мир, русский, советский женский мир: женщина-хранительница, женщина-спасительница, женщина-рабочая кляча и женщина-птица (иногда даже Жар-Птица) — это разные героини Аллы Кторовой.

Рубль 3 ЕРНОВА, "Новое Русское Слово", 23 апреля, 1978 г.

ИНОВЕЩАНИЕ Би-Би-Си

ищет кандидатов на возможные в будущем вакансии в Русской Службе.

ОТ КАНДИДАТОВ ТРЕБУЕТСЯ:

безупречное владение русским языком;
подходящие голосовые данные;
хорошее знание английского;
умение быстро, точно и гладко переводить с английского на русский, а после некоторой подготовки — писать радиозаметки и проводить интервью.

При отборе кандидатов принимается во внимание их опыт литературной или радиожурналистской работы.

Желающие получить более подробные сведения должны в ближайшие две недели обратиться с письмом на английском языке со ссылкой на наш референтный номер 78X8 по адресу:

Recruitment Officer, Language Services, BBC, P. O. Box 76
Bush House, Strand, London WC2B 4PH, England.

К письму следует приложить конверт с обратным адресом для ответа.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата к свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 6 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН

"РЕПЕТИЦИЯ В ПЯТНИЦУ"

повесть и рассказы

Первая зарубежная книжка известного советского писателя, одного из лидеров нового литературного поколения 60-х годов Анатолия Гладилина, живущего ныне в Париже. Сюда вошли лучшие сатирические произведения писателя, отвергнутые цензурой в СССР. Основа сборника — повесть "Репетиция в пятницу", острый сюжет и гротескные преувеличения которой естественно возникают из политической фантазмагии советской действительности.

Издательство "Третья волна", Париж, 1978.
Цена — 30 фр. франков.

Заказы посылатъ по адресу:
A. Gleser, Chateau du Moulin de Senlis 91230. Montgeron,
France.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

*Сроком на 6 месяцев -270 лир
на 12 месяцев — 492 лиры
(включая налог на дополнительную стоимость
и почтовые расходы)*

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ

В США И КАНАДЕ

*сроком на 6 месяцев — \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)
на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)
Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5*

ВО ФРАНЦИИ

*сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)
на 12 месяцев — 184 (авиапочта — 310)
Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23*

В ГЕРМАНИИ

*сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)
на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)
Цена номера в открытой продаже — DM — 11*

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv

В журнале "Время и мы" бесплатно публикуется реклама книг, выпускаемых издательством.



Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, апрель 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки: Михаил
Бурджелян "Три флакона".**

